



П Ъ Е Т Р О  
А Р Е Т И Н О  
РАССУЖДЕНИЯ



---

**СЕРИЯ «ЦВЕТЫ ЗЛА»**



---

PIETRO ARETINO

RAGIONAMENTO

VENEZIA

1534

---

---

# РАССУЖДЕНИЯ НАННЫ И АНТОНИИ

ПОД ФИГОВЫМ ДЕРЕВОМ, В РИМЕ,  
КОТОРЫЕ РАДИ СВОЕЙ ЗАБАВЫ  
И В ПОУЧЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ ТРЕХ СОСТОЯНИИ  
СОЧИНИЛ БОЖЕСТВЕННЫЙ АРЕТИНО

Перевод с итальянского Светланы Бушуевой



ИНАПРЕСС  
С.-ПЕТЕРБУРГ  
1995

---

ББК 84 4 Итал.  
А 80

ПЬЕТРО АРЕТИНО  
РАССУЖДЕНИЯ  
PIETRO ARETINO  
RAGIONAMENTO

*Вступительная статья, перевод с итальянского и примечания  
Светланы Бушуевой  
Художник А. Коротаяев  
Редактор А. Г. Тимофеев*

Перевод выполнен по изданию: *Aretino Pietro. Ragionamento. Dialogo/Introduzione di Nino Borsellino. [Milano]; Garzanti, [1984].*

**ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА  
ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА**

ISBN 5—87135—015—1

- © Светлана Бушуева, перевод, вступительная статья, примечания, 1995.
- © Алексей Коротаяев, художественное оформление, 1995.

## СКАНДАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СКАНДАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ ПЬЕТРО АРЕТИНО

### I

Читатель держит в руках одно из самых скандальных сочинений Аретино, его «Рассуждения» («Ragionamento»). «Рассуждения» никогда не переводились на русский язык, как, впрочем, и остальные произведения писателя, за исключением двух пьес — «Комедия о придворных нравах» («La Cortigiana») и «Философ» («Il filosofo»), — которые были опубликованы в 1965 году в сборнике итальянской драматургии эпохи Возрождения<sup>1</sup>. А так как и на французский язык Аретино был переведен очень поздно, во второй половине XIX века<sup>2</sup>, образованный русский читатель, пожелавший познакомиться с сочинениями великого итальянца, долго не мог воспользоваться и этим, привычным ему ходом. Таким образом, Аретино оказался доступен лишь тем немногим, которые могли читать его в подлиннике. Судя по некоторым свидетельствам, его знал Пушкин<sup>3</sup>.

Забавно, что незнакомство с творчеством писателя нисколько не помешало распространению и утверждению в Россию его репутации. Тут знали формулу Ариосто «Divino Aretino», что значит «Божественный Аретино». Знали и то, что «Божественный» — в высшей степени, прямо-таки фантастически непристойен.

Вряд ли сведения о непристойном характере его сочинений были почерпнуты у библиографов, которые долгое время помещали эротические книги Аретино в разделе «порнографической литературы». Это, конечно же, эхо прижизненной славы, причем славы не только литературной.

Аретино жил, как писал, поражая современников

дерзостью своего поведения. Будучи свидетелем небывалого падения нравов в придворных кругах и в особенности в среде папской курии, именно светскую и церковную знать он сделал предметом нелицеприятной и бесстрашной критики, получив за это от современников уважительное прозвище «Бич князей». Аретино не щадил ни кардиналов, ни пап, ни герцогов, ни королей, ни даже самого Карла V, императора Священной Римской империи. Но при этом — удивительное дело! — он продолжал поддерживать с ними самые дружеские отношения. Принимал подарки, которыми те надеялись его умиловить, а порою и не стеснялся их вымогать, напоминая о возможностях своего злоязычия\*.

Этот «бытовой маккиавеллизм» «Божественного», подчинявшего нравственные принципы соображениям «практической пользы», разумеется, не мог не подрывать его позиции моралиста. Какой уж там моралист! Ближайший друг Аретино великий Тициан называл его «кондотьером от литературы»<sup>4</sup>.

Слово найдено точно — именно кондотьер, но то, что «кондотьерство» Аретино было «от литературы», несколько меняет дело. Свобода от моральных обязательств, без которой нет кондотьера, в случае Аретино выступала как условие достижения свободы творчества, которую можно было обрести, лишь порвав с традиционной вассальной зависимостью от «князей». Независимость, принимавшая у Аретино столь уродливые формы, была все-таки не чем иным, как независимостью, и, может быть, в ту пору всеобщего падения нравов другие формы трудно было себе представить. Подчеркнутое великолепие его собственного, Аретинова, «двора», которым он поспешил обзавестись, укрывшись от своих «покровителей» в Венеции, объ-

---

\* Эти свои возможности он ощущал поистине безграничными. В тогдашней Италии ходил анекдот. Наслушавшись от «Бича князей» поношений всех и вся, собеседник удивлялся: «А вот о Господе Боге Вы пока ничего дурного не сказали. С чего бы это?» — «К сожалению, я с ним незнаком», — отвечал Аретино.

яснялось не только суетностью Аретино и его любовью к роскоши; за всем этим стояло остро переживаемое писателем самоощущение свободного человека.

Начав преступать правила, нормы и приличия с сочинения «Сладострастных сонетов», первого среди своих порнографических произведений, Аретино кончил «нарушением» куда более серьезным. Преступив правила тогдашнего социального этикета, он достиг степени независимости, позволившей ему беседовать с «князьями» на равных. Аретино считал, что для писателя, который «властвует» с помощью «пера и бутылки чернил», именно такое положение совершенно естественно, и «князья», дорожившие его дружбой, искавшие у него совета и расположения, по-видимому, с этим соглашались. Он же сидел себе в своем роскошном дворце в Венеции и кого хотел — казнил, кого хотел — миловал, ни с кем, впрочем, не ссорясь, как умел это всегда. Аретино прожил в Венеции тридцать лет и умер там в 1556 году от апоплексического удара. Правда, ходили слухи, что — не от удара. Просто он будто бы захохотал и, не сумев остановиться, захлебнулся собственным смехом. Разумеется, такой конец был бы больше в его духе.

Впрочем, роковому взрыву смеха предшествовала целая жизнь — шестьдесят пять лет бурной, опасной; но, в общем, счастливой жизни.

## II

Началась эта жизнь 20 апреля 1492 года, в ночь на Страстную Пятницу, когда в больнице города Ареццо у местного сапожника по имени Лúка (его фамилии история не сохранила) и его жены Маргериты Бончи родился сын Пьетро. Существует, правда, легенда, согласно которой Пьетро был незаконным сыном богатого горожанина Луиджи Баччи. Сам Аретино эту версию никогда не поддерживал и недоброжелателю, очередной раз попрекнувшему его низким происхождением, ответил однажды так: «Я всем этим нобилям пожелал бы таких сыновей, какого сумел родить простой

сапожник из Ареццо». Однако фамилии отца он почему-то не взял и предпочел зваться по имени родного города: Аретино — значит «из Ареццо».

Учился мальчик недолго и особого прилежания не проявлял. «Я не столько посещал школу, — вспоминал он в одном из писем, — сколько увиливал от нее, моля Бога чудом ниспослать мне знания». В тринадцать лет он бежал из дома в Перуджу и стал там учеником переплетчика. Общение с книгой не прошло даром: в 1511 году в Венеции вышел первый сборник стихов Аретино, бесследно канувший в Лету. Поездив по Италии, поэт понял, что кратчайший путь к жизненному успеху пролегает через Рим, и в 1517 году приехал в Вечный Город с твердым намерением пробиться к папскому двору. Это удалось ему очень быстро. Пробыв некоторое время в услужении у известного банкира Агостино Киджи, Аретино перешел к кардиналу Джулио Медичи. Таким образом, он получил доступ в курию и возможность вблизи наблюдать господствовавшие там развратные нравы. Те самые нравы, против которых совсем недавно (1494) взбунтовался Савонарола, а в 1517-м — пойдет Мартин Лютер, вывесив 31 октября на дверях Виттенбергской церкви свои знаменитые «95 тезисов против злоупотреблений католической церкви», которые положили начало движению Реформации. Критикой этих «злоупотреблений» занялся и Аретино, сочинивший в эту пору свои первые «пасквинаты» — анонимные издевательские стихи, где были выведены самые высокие представители папской курии. Тогда же он написал «в стол» свою первую пьесу «Комедия о придворных нравах», которая вышла в свет лишь двадцать лет спустя.

В 1522 году Лев X умер, и конклав приступил к выбору нового папы, колеблясь между голландским прелатом Адрианом и кардиналом Джулио Медичи. Аретино поддержал своего хозяина, сделав его соперника героем бесчисленных пасквинат. Победил все-таки соперник Медичи, и Аретино благоразумно бежал из Рима, боясь преследований.

Впрочем, вынужденная разлука с Римом пошла

Аретино на пользу. «Князья», наслышанные о его римских эскападах и мгновенно подпадавшие под власть его обаяния, переманивали изгнанника друг у друга, пытаясь удержать его при себе щедрыми подарками и обещанием покровительства. Аретино вел список этих благодеяний. «Епископ Пизы, — сообщал он в одном из писем 1522 года, — заказал для меня черную куртку, расшитую золотом, лучше которой не сыщешь. Синьор маркиз Мантуанский <...> очень лестно отозвался обо мне в письме кардиналу, что было мне полезно, и подарил к тому же триста скуди. Весь двор во мне души не чает, и каждый желает получить от меня стихи». Самый воинственный из клана Медичи, Джованни Далле Банде Нере, звал Аретино в свой военный лагерь, надеясь заполучить в его лице товарища по оргиям. Но удержать «Божественного» не удавалось никому.

В 1523 году папский престол все-таки занял Джулио Медичи (Климент VII), и Аретино возвратился в Рим, уверенный в высочайшем покровительстве. Он решил воспользоваться своим новым положением и, оставив на время пасквинаты, заняться политикой и попытаться оказать влияние на ход «итальянских войн».

«Итальянскими войнами» принято называть непрерывные военные действия, которые велись на Апеннинском полуострове с 1493-го по 1559 год. Начавшиеся как война французов против испанцев за «передел» итальянских земель, они втянули в себя остальную Европу, в частности императора Священной Римской империи Карла V, и очень скоро превратились в войну всех против всех. Раздробленная Италия не только не объединилась против общего врага — в ней усилились междоусобные противостояния. Отдельные герцогства, княжества и города, пытаясь отстоять эгоистический местный интерес, попеременно становились то на одну, то на другую сторону в стане завоевателей, образуя самые фантастические коалиции. Французы в ходе войны не раз превращались из захватчиков в союзников. Папа сдал Флоренцию испанцам ради

того, чтобы они восстановили там тиранию семейства Медичи. История этой военной эпопеи изобилует примерами самого низкого коварства, непростительной трусости, бессмысленной жестокости. В результате многолетнего кровопролития испанцы еще прочнее укрепились в Италии, французы получили Пьемонт, и только итальянцы остались ни с чем.

Аретино, видимо, надеялся, что, опираясь на личные отношения с «князьями», он сможет остановить кровопролитие. Он пытался «примирить» Карла V и французского короля Франциска II, потом того же короля с папой, наконец призвал всю католическую Европу объединиться и, оставив внутренние распри, выступить против усиливающегося общего врага, Османской империи. Однако из всех его попыток ничего не вышло: из-за отсутствия объединяющей национальной идеи все дело портили сами итальянцы. Единственным результатом усилий Аретино было то, что он завязал дружбу с множеством новых «князей», в числе которых оказался, как это ни удивительно, турецкий султан Сулейман Великолепный.

Разочаровавшись в политике, Аретино снова обратился к литературе и, как и следовало ожидать, стал виновником очередного скандала. В 1524 году знаменитый художник Джулио Романо создал серию скабрёзных рисунков, на которых изобразил шестнадцать разнообразных соитий, причем запечатлел в этих позах священнослужителей с девками. Не менее известный гравёр Маркантонио Раймонди исполнил по этим рисункам гравюры, а завершил дело — Аретино, написавший к каждому листу сонет.

Сочинение, получившее название «Сладострастные сонеты» («*Sonetti lussuriosi*», 1524), не было напечатано (оно вышло в Венеции лишь в 1556 году) и распространялось тайно, в списках. Несмотря на это, «сонеты» сразу стали известны Ватикану и вызвали самую резкую реакцию главы папской канцелярии Джигерти. Аретино ответил ему вызывающе, и, как результат, на него было совершено покушение: нападавший был бли-

жайшим родственником Джиберти. Раны удалось залечить, но, поскольку стало ясно, что рассчитывать на папское заступничество не приходится, Аретино счел за благо бежать из Рима, не дожидаясь судебного разбирательства. Он уехал в октябре 1525 года, полагая, что ненадолго, а между тем оказалось, что навсегда.

Поначалу он еще надеялся переждать опасность и проводил время, навещая старых друзей. Заехал к Джованни Далле Банде Нере, который сделался к тому времени крупным военачальником в Коньякской лиге, объединившей Францию, Венецию, Геную, миланского герцога и Святой Престол против испанцев. Аретино оказался свидетелем битвы, в которой Джованни погиб, и описал происшедшее в одном из писем 1526 года. Затем он заехал в Мантую к герцогу Гонзага и там, в числе других пасквинат, направленных против курии, написал в начале 1527 года ядовитое, адресованное непосредственно папе «Предсказание». Жанр был выбран за его популярность в эту эпоху бурного расцвета астрологии, и полное название сочинения Аретино звучало так: «Суждение, или Предсказание о Годе 1527-м маэстро Пасквино, пятого евангелиста».

Все несчастья, которые сочинитель предсказал папе, сбылись, и очень скоро. Измена Климента VII Коньякской лиге и наспех заключенный союз с императором Священной Римской империи не спасли ни папу, ни его город. Вышедшие из повиновения Карлу V ландскнехты жестоко разграбили Рим, сам папа очутился в плену, потом выплатил императору дань, а в довершение всего был вынужден короновать его итальянской короной. Разграбление Рима и пленение папы, что вся католическая Италия пережила как катастрофу, у «пятого евангелиста» не вызвало ничего, кроме злорадства. Он откликнулся на эти печальные события пасквинатой, выполненной в форме папского послания: «*Rax vobiscum, Brigata*» («Мир вам, честная компания»).

Послание было сочинено, когда Аретино уже поселился в Венеции. «Светлейшая» («*Serenissima*», таков был неофициальный титул города) очень вовремя пред-

ложила свое гостеприимство римскому изгнаннику. Имея дело с таким врагом, как папская курия, Аретино не мог чувствовать себя в безопасности даже при дружественном мантуанском дворе. Убежище, которое предоставляла ему Венеция, было куда более надежным, к тому же, будучи олигархической республикой, она не обязывала писателя к придворному служению, на что он был бы обречен при герцоге Гонзага. Аретино с благодарностью принял приглашение дожа Андреа Гритти и, прибыв в Венецию 27 марта 1527 года, заявил, что останется здесь навсегда. «Почерпнув в свободе столь великого государства умение быть свободным, — писал он, — я навсегда отвергаю придворную жизнь и впредь уж не покину этого прибежища, потому что тут нет места предательству, а право не зависит от чьей-либо благосклонности <...>». Разумеется, тут не обошлось без преувеличений, неизбежных в жанре благодарности, но, говоря о необычно высоком, по меркам остальной Италии, уровне гражданских свобод, достигнутом в Венеции, Аретино был прав. Этот уровень находился в прямой связи с уровнем свободы, достигнутым самой Венецией, которая единственная среди всех областей Италии продолжала оставаться независимой. Она не пустила на порог чужестранцев и в кровавой неразберихе итальянских войн чаще всего ухитрялась оставаться в стороне. Несмотря на усиление Турции, потеснившей «Светлейшую» в Эгейском море, Венеция продолжала быть экономически процветающей и социально устойчивой олигархической республикой, покровительствовавшей не только ремеслам и торговле, но и наукам и искусствам. Выбрав для жительства Венецию, Аретино очутился в поистине блистательном кругу. В «Светлейшей» работали Тициан, Тинторетто, Веронезе, Джорджоне, архитекторы Сансовино и Палладио. Тут процветало типографское дело, начатое в 1494 году знаменитым Альдо Мануцио. Сюда наезжали артисты со всей Европы. И тут не было двора, при котором художника обязывали «кормиться». Аретино наконец нашел место, где он мог жить по своему вкусу.

И он принялся устраиваться. При этом, разумеется,

не забыл собрать привычную дань с «князей». Со старых знакомцев, таких, как князь Салернский, назначивший ему пенсию в сто дукатов, или маркиз дель Васто, плативший ему столько же. Равно как и с новых — среди которых оказался столь неожиданный благодетель, как Ибрагим-паша, тоже его одаривавший и приглашавший в Константинополь. Очень может быть, что удалось получить кое-что и из Рима, потому что и с папой, и с Джиберти, как это ни удивительно, Аретино в конце концов помирился и его отношения с римской курией становились все лучше. Юлий II, взошедший на папский престол в 1550 году, произвел Аретино в кавалеры ордена Святого Петра, и в Риме даже поговаривали о его будущем «кардинальстве».

Но хотя Аретино ценил приношения\* и не собирался от них отказываться, он прекрасно мог содержать себя сам. Как с гордостью сообщал он в одном из писем, ему удавалось ежемесячно зарабатывать тысячу скуди «с помощью бумаги и бутылки чернил».

В деньгах недостатка не было; проблема состояла лишь в том, чтобы их потратить. Впрочем, и проблемы-то не было — что-что, а тратить Аретино умел и любил. «Признаюсь, — писал он в письме 1548 года, — у меня большие потребности. Почему, спросите вы, человек, не получивший наследства, так неумеренно расходует средства? Да потому, что у меня душа короля, а такие души не знают ограничений, когда речь идет о роскошестве».

Душа Аретино ограничений и вправду не знала. Историк итальянской литературы Ф. де Санктис утверждает, что «Божественный» потратил за свою жизнь больше миллиона франков. Так что на дом, в котором он собирался прожить всю жизнь, денег Аретино, естественно, не пожалел. Был это не просто дом — мраморный дворец. Роскошный, просторный, стоящий на бе-

---

\* Одно из таких приношений, роскошная золотая цепь, подаренная Аретино императором Священной Римской империи, запечатлено кистью Тициана. Цепь украшает грудь Аретино на знаменитом портрете.

регу Большого Канала. С внутренним садом. С великолепным убранством. При входе посетителя встречал мраморный бюст хозяина дома, увенчанный лавровым венком. Медали с его изображением теснились на красном бархате, декорировавшем стены.

Впрочем, Аретино утверждал, что его изображение встречалось в Венеции на каждом шагу, и считал это вполне закономерным. Говорил он об этом так: «Считаю вполне естественным, что мой портрет можно встретить на фасадах дворцов, он украшает футляры гребешков, рамки зеркал, фаянсовые тарелки» (одно из писем 1545 года). Столь же часто в венецианском обиходе встречалось имя Аретино. «...некоторые сорта муранских ваз из хрусталя, — продолжает он в том же письме, — носят название аретинских. Аретинской называется порода лошадей <...>. И, к вящей досаде педагогов, которым приходится говорить о «стиле Аретино», три мои служанки или экономки, ушедшие от меня и ставшие синьорами, нарекли себя Аретинами».

Эти три — наверняка хорошенькие — служанки, на чье место в доме, где не держали мужской прислуги, без сомнения, заступили такие же. являют собой апофеоз великолепной картины, нарисованной Аретино. Что зеркала, что вазы, что лошади, если «запечатлеть» себя именем Аретино желали даже прекрасные венецианки?!

Аретино любил прихвастнуть («И в Персии, и в Индии вывешивают мой портрет и уважают мое имя!»), но в Венеции он действительно был в большой моде. Тут всегда ценили острый и злой язык, а также сибаритские наклонности в сочетании с чувством прекрасного.

Он любил изобразить из себя покровителя искусств и старался окружить себя «артистами», людьми искусства. Правда, далеко не со всеми удавалось завязать дружеские отношения. Так, например, Тинторетто, отбиваясь от его гостеприимных «домогательств», однажды просто замахнулся на Аретино палкой, и тому пришлось отступить. А вот с Тицианом они были близкими друзьями, художник даже стал его ку-

мом. Дружил Аретино и с архитектором Сансовино, тем самым, что, построив дворец Коррер, сформировал знаменитую площадь Св. Марка. И с известным писателем Пьетро Бембо тоже дружил. Впрочем, с кем только он не дружил, с кем только не водился! Актерам, музыкантам, священникам, куртизанкам, монахам, пажам — всем нравилось бывать у него в гостях, все любили его дом.

Да он и сам его любил, свой красивый, просторный дом, где кроме него да трех Аретин обитали еще две дочки, Адрия и Австрия, которыми он умудрился разжиться в Венеции, хитроумно избежав при этом брачных цепей. Аретино жил в молодом женском окружении и чувствовал себя прекрасно. Мужской пол в его доме представляла, помимо него самого, лишь обезьянка по кличке Багаттино, что значит «Грошик».

Не следует, однако, думать, что, устроившись по своему вкусу, любитель наслаждений этим и ограничился. Вовсе нет! Свобода, которую Аретино обрел в Венеции, была для него прежде всего свободой творчества. Правда, он и раньше-то никогда особенно не удерживал свое перо, но тогда речь шла о выпадах против частных лиц или, самое большее, о сатире на священническое сословие. Теперь Аретино ставит перед собой куда более амбициозные задачи. Конечно, он по-прежнему не оставляет в покое прелатов — да и вообще власть имущих, поскольку его обязывает к этому сам его титул «Бича князей» \*, но теперь социальная сатира Аретино становится лишь частью широкой картины мира.

Главным для него делается широта картины, поскольку Аретино теперь хочет быть «секретарем мира» («segretario del mondo») и для этого, по-видимому первый в истории, осваивает жанр журналистского репортажа. В репортаж он превращает письмо, свое соб-

---

\* Примечательны несколько строк на эту тему в одном из его писем: «Ко мне приходят турки, евреи, индусы, французы, немцы, испанцы... И каждый из них рассказывает об обиде, нанесенной ему каким-нибудь прелатом или светским властителем».

ственное письмо частному лицу. Он смотрел на него как на страницу из будущей книги и потому, отказавшись от традиционной для эпистолярного жанра риторики, сделал его максимально информативным, раскрыв при этом художественный потенциал «документального». Письмо о смерти Джованни Далле Банде Нере, написанное в декабре 1526 года, — это образец яркого репортажа с театра военных действий.

Книга писем («Lettere») писалась Аретино всю жизнь, а публиковалась с 1537-го по 1557 год. Последний, шестой, том вышел уже после смерти автора. Может быть, ни к одному своему сочинению Аретино не относился так серьезно, как к этой летописи эпохи. Когда знаменитого стилиста Пьетро Бембо спросили, не возражает ли он, если его назовут современным Цицероном, а Аретино — современным Плинием, тот без тени улыбки ответил: «Лишь бы его это устроило».

Создав новый жанр, Аретино не оставил и традиционных. В 1530—1540-е годы он сочинил несколько комедий («Кузнец», «Комедия о придворных нравах» (окончательная версия), «Таланта», «Лицемер», «Философ») и трагедию «Горация». В 1535 году, как бы в опровержение своей репутации сочинителя скабрёзностей, он написал сочинение «Страсти Христовы», в 1539-м — «Житие Св. Марии» и «Житие Св. Екатерины», а в 1543-м — «Житие Св. Фомы». В этих богоугодных сочинениях был продолжен стилистический поиск, начатый в «Письмах»; отказавшись от риторических фигур, Аретино пытался придать евангельским сюжетам черты документально достоверных историй. А в 1545 году, словно бы вспомнив о своей скандальной репутации, он написал забавнейшую вещь «Говорящие карты», в которой художник-миниатюрист, карточный мастер, беседует с картами об их влиянии на человеческую судьбу.

Впрочем, о репутации не стоило беспокоиться. В 1534 и 1536 годах Аретино издал две книги — «Рассуждения» и «Диалог», — которые надолго связали его имя с порнографической литературой. Первая из них и предлагается сейчас вниманию русского читателя.

Хотелось бы, чтоб эротическая репутация книги не помешала ему оценить ее литературные достоинства. Непристойности — непристойностями, но «Рассуждения» — это еще и прекрасная книга, в чем-то переключаящаяся со своей ровесницей (тоже 1534 год!), книгой Рабле о Гаргантюа и Пантагрюэле. Там тоже достаточно непристойностей. Но если бы дело было только в них, ни Рабле, ни Аретино, быть может, не стоило бы и переводить.

### III

Но, скажет читатель, если дело не в Аретиновых скабрезностях, то в чем же? Все остальное вроде бы уже было у Боккаччо и кажется читанным.

На первый взгляд, это выглядит действительно так. Книга Аретино и вправду приводит на память жанр, достаточно традиционный для итальянской литературы эпохи Возрождения, — эротически насыщенную сатиру на современные нравы. За двести лет до Аретино ее образец был представлен Боккаччо в «Декамероне», где действуют те же распутные монахини и монахи, те же неверные жены, те же коварные шлюхи. Да и в форме «Рассуждений», с их дроблением по «дням», явно ощущается влияние традиции. Правда, в «Декамероне» рассказ движется монологами, а у Аретино построен как диалог, но это тоже не изобретение последнего. В середине 1530-х годов вся Италия втайне зачитывалась непристойнейшим сочинением Антонио Виньяли «Cazzaria», которое по-русски пристойней всего перевести как «Херня». Этот запрещенный церковью образчик непристойности был выполнен как раз в форме диалога. Что же касается стиля Аретино, то его избыточный метафоризм, в общем, соответствовал литературной моде эпохи, в которой господствовал маньеризм.

Но все это только на первый взгляд. Аретино был писателем Нового времени, и традиционные приемы служили у него иным, чем это было раньше, задачам.

Боккаччо понадобились его десять «дней» для того, чтобы организовать равнозначный материал. Если не считать X-го «дня», большинство его новелл можно поменять местами без ущерба для смысла книги.

Аретино его «дни» нужны были совсем для другого. Материал, положенный в основу повествования каждого «дня», по замыслу писателя далеко не равнозначен, и именно ход времени, фиксирующий постепенное изменение авторской интонации от благодушия к безнадежности, в конце концов и выявляет этот замысел, стягивающий все три части книги в единое целое. Становится ясно, что у книги есть скрытый сквозной сюжет, и это принципиально отличает ее от рассредоточенной, внутренне статичной «хроники» Боккаччо.

То же — с диалогом. Поначалу кажется, что Аретино использует эту форму — формально. Рассказ доверен одному персонажу, Нанне; это, в сущности, монолог, изредка нарушаемый репликами Антонии, которая либо поддакивает, либо подбивает подругу к продолжению. Но постепенно, чем дальше, тем определеннее, выясняется, что Антонии отведена в диалоге особая роль. Она выступает тут от имени пошлого здравого смысла, несовместимого с бессознательно трагическим мироощущением другой героини, и эта оппозиция мироощущений сообщает диалогическому повествованию неподдельное напряжение драматизма.

На уровне стиля Аретино тоже преодолевает традицию, то пародируя, то вступая с нею в соревнование, то противопоставляя расхожим художественным штампам свою собственную, новую образность.

Преобладает тут, безусловно, принцип пародирования. Среди Аретиновых пародий есть совершенно демонстративные, вроде мифологического вступления ко «Второму дню», в котором итальянские исследователи давно усмотрели пародию на XI песнь Дантова «Чистилища». А есть и более тонкие, которые современный читатель рискует даже не распознать. Например, финал «Посвящения», где автор буквально исходит риторическими штампами, словно для того, чтобы дока-

зять благонамеренность своей книги тем, кто пожелал бы обвинить его в клевете на церковь. Если не знать скандальной биографии Аретино — грозы прелатов, то можно было бы предположить, что на риторику автора подвигла вынужденность этого пассажа. Но так как о вынужденности не могло быть и речи, нам остается оценить этот отрывок как чисто пародийное стилистическое упражнение.

Пародийно и посвящение книги обезьяне: Багаттино появляется тут на тех самых страницах, которые традиционно бывали отведены «князьям», кого Аретино язвительно именует тут «великими мужами». Пародийно использование церковной латыни, которой щедро пересыпаны самые рискованные места. Пародийны литературные дискуссии героинь, двух старых шлюх, которые пересказывают новеллы Боккаччо и обсуждают его стиль, цитируют Петрарку и Данте и вступают в споры об «атрибутировании» отдельных строк! Но особенно забавен их спор о чистоте языка (пародия на действительные академические дискуссии той поры). Простушка Антония требует, чтобы рассказчица перестала утомлять ее всякими пестиками и чашечками, палочками и розочками, а так прямо и говорила бы «Пи» или «Ху». На что более искушенная Нанна отвечает, что именно в борделе и требуется особенное изящество слога.

Под этим тезисом Нанны мог бы подписаться и Аретино, который, судя по всему, полагал, что только в борделе изящество и требуется. Поэтому, даже сражаясь с литературным противником на его собственном поле, то есть сохраняя характерный для того времени прием развернутого сравнения, Аретино начисто лишал его «изящества». Предмет сравнения тенденциозно и последовательно снижался за счет характерно выбранного второго элемента, сопоставляемого с первым. Сосредоточенно жующих участников трапезы Аретино сравнивает с шелковичными червями. Роскошно одетых кавалеров, толпящихся под окном героини, — со стаяй воробьев, слетевшихся к зерну. Монахов, испуганных внезапным приездом настоятеля, —

с мышами, которых неожиданный шум заставил в ужасе застыть на куче орехов. В финале «Второго дня» Аретино демонстрирует этот прием, словно вводя читателя в свою литературную кухню. Описав наступление ночи в традиционном духе, то есть сравнив звезды, их постепенное появление в небе — с розами, которые «раскрываются одна за другой», Аретино тут же предлагает иное и очень специфическое сравнение. «Я, — говорит он, — сравнил бы это с тем, как бывает, когда в деревню входит полк солдат. Сначала появляется десять человек, потом тридцать, оглянуться не успеешь — как вся их толпа рассеялась по деревне. Но боюсь, что мое сравнение не будет принято благосклонно: ведь супы нынче стряпают только из розочек, фиалочек и травинок».

Надо было действительно объесться супом из розочек, чтобы захотелось сравнить звезду с солдатом!

Но что делать?! Это были издержки Аретиновой программы, согласно которой в литературу, где царила «умозрительность», должна была вернуться чувственная реальность бытия. Поскольку развернутая метафорическая конструкция мешала созданию такого образа реальности, Аретино все чаще заменял ее «прямым» описанием.

Если речь шла о пире, Аретино показывал и стол, и скатерть, и приборы, и кушанья. Если о саде — деревья, кусты, и грядки, и всякий овощ в отдельности! Он останавливал мгновенья повседневной жизни, закрепляя их на бумаге характерными деталями быта. Благодаря ему мы узнаем, что насаженная на палку вертушка, которую так любят наши дети, родилась не сегодня и даже не вчера: мальчишки бегали с ней по флорентийским улицам еще в начале XVI века. А в добросовестно описанном танце «балерины из Феррары» любой знаток балета с изумлением опознает классическое фуэте.

И уж конечно, взявшись показать грешную жизнь монахинь, Аретино не мог обойтись одними только метафорами. Их было достаточно его предшественнику

Боккаччо, для которого главным было движение сюжета, «история». У Аретино же на весь «Первый день» история одна: любовь за монастырскими стенами. И потому — ему ничего не остается, как показать ее в «прямом» описании. Разумеется, он пользуется эфемеризмами, и еще как! — изобретательно и остроумно, — но они погружены у него в такой эротически насыщенный контекст, что никак не мешают созданию иллюзии чувственной реальности.

Как это ни странно, но именно в первой части, где живописуется развратная жизнь священнослужителей, Аретино менее всего ядовит и обличителен. Правда, он рисует здесь гротескную фигуру старой уродливой монахини, которая посредством колдовства заманивает на свое ложе юношу, но совершенно ясно, что эта ситуация оскорбляет в нем скорее эстетическое, чем моральное чувство. А в принципе он настроен благодушно. Он словно бы на стороне здоровой чувственности, перед которой церковь поставила свою искусственную, но, к счастью, не очень прочную преграду. Это не высказанное прямо сочувствие сквозит тут во всех рискованных описаниях (вспомнить только оду женскому заду, пропетую на стр. 46!), и именно это делает их такими живыми и от этого еще более непристойными.

Во второй и третьей частях книги нет и следа этого естественного гедонизма. Природа, которая в историях «Первого дня» представала такой человеческой, берущей справедливый реванш за свои попранные права, в рассказах из жизни замужних женщин обнаружила свою inferнальную сущность. Подсвеченная адским пламенем чувственность превратилась в похоть во всей ее маниакальной безысходности. Простушка Антония предложила было классическое социально-экономическое объяснение женской порочности: «Только нужда, в которой проходит вся наша жизнь, заставляет нас так себя вести. А на самом деле мы вовсе не такие плохие». Но Нанна (а вместе с ней Аретино) категорически ее оборвала: «Нет, это не так. Причина всему — наша плоть. Хвостом нас делают, и от хвоста же приходит наша гибель».

Через все анекдотические, абсурдные, фантастические истории «Второго дня» проходит грозный мотив могущества темных природных сил, которые подчиняют себе человека до полной потери им своего человеческого, то есть божеского, образа. Благородные дамы и простые горожанки, простушки и умницы, красавицы и дурнушки, попав во власть похоти, становятся одержимыми: отказываются от веры, лгут, грабят, предают, убивают. Не в пример тому, как это было в первой части, где Аретино занят в основном описанием любовного акта, здесь главный предмет его интереса — это путь, который проходят героини, добываясь утоления своей страсти, то есть «история». Все эти истории, которые поначалу кажутся комическими, постепенно раскрываются в своей трагически гротескной сущности. Благороднейшая синьора намеренно совершает святотатство, чтобы оказаться в тюрьме рядом с грабителем и убийцей, чья «пушка» является предметом ее вожделений, и, добившись своего, чувствует себя в темнице, как «в райских кущах». Юная жена старого рыцаря, красавица, умница, поэтесса, музыкантша, подстраивает мужу падение с лестницы, чтобы приковать его со сломанной ногой к постели, а самой получить вожделенную свободу. Сюжет, достойный Боккаччо, но совсем не из Боккаччо колорит, настроение, тон центрального эпизода. «...и, хотя старик кричал «Эй! Эй!», протягивая к ней руки, она предложила ему кричать до посинения, а сама направилась прямоком к слугам, которые, сидя вокруг тлеющего огарка, играли в карты <...>. Промолвив «Спокойной ночи», она задула свечку и, притянув к себе первого попавшегося, начала с ним забавляться; она провела за этим занятием три часа, перепробовав всех десятерых <...>». От этой сцены с ее молчаливым, безличным, методическим утолением похоти веет отчаянной тоской.

Это же настроение господствует в последней части книги, самой мрачной из всех. В главе о замужних женщинах речь шла все-таки о страсти, пусть даже самой низкой, которая и диктовала жизни свои разно-

образные сюжеты. Героине третьей части Нанне не дано и такой страсти; ее отношения с природой строятся по расчету, и потому все ее истории на одно лицо. Нанна обманывает, унижает, предает, грабит, доводит до долговой ямы и даже до виселицы. А потом снова — обманывает, унижает, предает и т. д. Нанне самой скучно рассказывать свои истории, чем дальше, тем скучнее; она сбивается, зевает, жалуется на скуку, тоску. Уныние, говорит она, одно из самых ужасных чувств, разъедающих душу девки. Стяжание, сделавшееся единственным содержанием жизни, замещает у нее любовную страсть и, как это бывает именно со страстью, обретает причудливые маниакальные формы. Аретино пишет эту страсть прямо-таки гоголевским пером. Вот как владелица дворца и земельных угодий хвастается перед нищей приятельницей своим умением «пожизниться»: «Все-таки они <клиенты. — С. Б.> хоть что-нибудь у меня да забывали. Перчатки, пояс, ночной колпак... девка ничем не брезгует, девке все пригодится... зубочистка, тесемочка, орешек, горчичное зернышко, хвостик от груши...»

За этот естественный как дыхание и в то же время неподдельно художественный «хвостик от груши» Аретино можно «простить» все его стилистические слабости.

И не только за это.

За художественную реабилитацию «прозы» жизни.

За лексическую живость: он писал словами, какими и сейчас разговаривают в Италии.

За энергию фразы. Чего стоят одни только его словесные аккумуляции типа «Мой-Верую-В-Бога» («И тут явился „Мой-Верую-В-Бога“»). Прием, заимствованный из маньеристской литературы, раскрылся у Аретино во всей мощи своих конструктивных возможностей.

За экспрессивность, доходящую до гротеска.

За лирическое присутствие на собственных страницах, столь необычное для литературы того времени. «Поэзия, — объясняет Аретино в одном из писем

1537 года, — это счастливый каприз природы, которому дает жизнь лишь наше собственное страстное переживание. Без него поэтическая речь — что церковь без колокола».

У него была именно такая речь, в его церкви — был колокол, и это, в общем, не вполне сочетается с привычным представлением об Аретино как о циничном острословие и легкомысленном прожигателе жизни. А поскольку ничто не выдает человека так, как его язык, то, наверное, было в Аретино и что-то еще, выходящее за рамки этого расхожего образа.

По мнению современного итальянского исследователя Нино Борселлино, в литературе своего времени Аретино представлял тенденцию экспрессионистского реализма. Возникающая при этом параллель с экспрессионизмом XX века не выглядит натянутой, потому что и в том и в другом случае специфическая экспрессионистская образность была художественным выражением «отчаявшегося гуманизма», свидетельством кризиса ренессансной концепции человека. Об «отчаявшемся гуманизме» экспрессионистов 1920-х годов известно достаточно. Труднее увидеть «отчаявшегося гуманиста» в Аретино — именно в связи с устоявшимся клише его образа.

Однако все поздние сочинения Аретино свидетельствуют о том, что он разуверился в способности человека преодолеть в себе темный природный хаос. Саркастическая ярость, с которой Аретино сказал об этом в «Посвящении» обезьяне, говорит о глубине испытанного им отчаяния.

В выход, предложенный Реформацией, он не поверил, видимо, по этой причине. А кроме того, вместе с другими гуманистами Нового времени, не принявшими протестантства, — Томасом Мором, Эразмом Роттердамским — Аретино предвидел реки крови, которые прольют фанатики новой идеи. Предвидел и ужасался.

Мало кого он боялся так, как этих фанатиков, которых он называл «педантами». «Педантам» Аретино

противопоставлял «свободных людей доброй воли», к которым причислял и себя.

Можно себе представить, каково было «свободному человеку доброй воли», когда он оказался между «педантами» Реформации, залившими Германию кровью восставших крестьян, и «педантами» контрреформации, иезуитами, которые вернули в Италию 1540-х годов пытки и костры инквизиции.

Правда, внешне его жизнь продолжала течь, как текла, и лично ему ничто не должно было угрожать. Он осудил Лютера (совершенно искренне) и защищал от его нападков папу — надо думать, из соображений собственной безопасности. В какой-то степени он защитил и себя — вовремя сочинив несколько богоугодных сочинений.

Но вряд ли он чувствовал себя спокойно рядом с «педантами» инквизиции. Он должен был понимать, что его главных книг они ему все-таки не простят.

И они — не простили. Имя Аретино попало в первый же «Index librorum prohibitorum» («Индекс запрещенных книг»), выпущенный Ватиканом в 1559 году.

---

<sup>1</sup> См.: Комедии итальянского Возрождения / Сост. и вступит. статья Г. Бояджиева; Редакция переводов и примеч. Н. Томашевского. М.: Искусство, 1965. С. 321—449; 451—531. (Пер. А. Габричевского).

<sup>2</sup> Первым переводчиком книги на французский язык был А. Бонно (см.: *Les Ragionamenti* / Trad. par Bonneau. Paris, 1879—1880; 10 vols). Вторым переводом сочинений Аретино на французский стало, насколько нам известно, издание, подготовленное Гийомом Аполлинером, см.: *L'oeuvre du Divin Arétin* / Introduction et notes par Guillaume Apollinaire. Paris: Bibliothèque des curieux, MCMIX. („Les maîtres de l'afnour“).

<sup>3</sup> Об этом см.: *Лернер Н. О. Пушкинологические этюды // Звенья: Сб. материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века / Под ред. Влад. Бонч-Бруевича. М.; Л.: Academia, 1935. [Кн]. V. С. 122—125. (Глава «Пушкин и Аретино»).*

Самым убедительным из приведенных исследователем свидетельств знакомства Пушкина с Аретино является цитата из французского письма Пушкина 1823 года, где поэт упоминает «8 Аретиновых поз».

<sup>4</sup> Сведения о жизни и творчестве Аретино почерпнуты мной из следующих источников: *Borsellino Nino. Pietro Aretino: La vita // Aretino Pietro. Ragionamento. Dialogo.* [Milano, 1984]. P. V—XXX; *Renda U. e Operti P. Dizionario storico della letteratura italiana.* Torino; Milano; Padova; Firenze; Pescara; Roma; Napoli; Palermo; G. B. Paravia & C., [1959], *Dizionario critico della letteratura italiana.* Torino, 1973; *G. A. [Apollinaire Guillaume]. Introduction // L'oeuvre du Divin Arétin.* P. 1—20; *Де Санктис Франческо. История итальянской литературы / Пер. с итал. Под ред. Д. Е. Михальчи, с послесловием Д. Е. Михальчи и М. Ф. Овсянникова.* М.: Прогресс, 1964. Т. II. См. 147—175.

Письма Аретино в дальнейшем цитируются по этим источникам без особых оговорок (в некоторых случаях произведена стилистическая правка перевода). Переводы с итальянского принадлежат автору вступительной статьи.

---

---

## ПЬЕТРО АРЕТИНО СВОЕЙ ОБЕЗЬЯНКЕ

Salve, мона ! Я говорю тебе «Salve», потому что Случай, управляющий жизнью людей и животных, увел тебя из твоего дома и привел в мой. И я, увидев, что в обличье мартышки скрывается великий муж (как в Пифагоре в обличье петуха скрывался великий философ), решил посвятить тебе, именно как великому мужу, а не как обезьяне, не как мартышке, плоды своих трудов, а вернее — отдохновений. А если б природа не открыла мне своей тайны, если б я не узнал, что ты великий муж, все равно разговоры Антони и Нанны я посвятил бы тебе, но только уже как животному. Ведь наказали же римляне смертною казнью того человека, который убил вóрона, только и умевшего, что приветствовать Цезаря, и мало того: гроб вóрона несли два эфиопа, с трубачом впереди. А место, где его похоронили, было названо «Ридикуло»<sup>2</sup>. Безумства, которые совершались античными мудрецами, велят быть снисходительными к безумствам современного глупца. Так вот, чтобы доказать, что ты великий муж, я начну с того, что будучи тем, что ты есть, ты имеешь облик, подобный человеческому, а ведь именно человек склонен считать себя великим мужем. Ты так прожорлив, что глотаешь все что попало, но и человек в своей ненасытности объедается так, что грех чревоугодия уже не принято числить среди семи смертных грехов. Ты ворует по мелочи, а он по-крупному, так же тщательно высматривая место, где можно украсть, как делаешь это ты. О том, сколь он милостив, пусть расскажут его подданные, а о твоей щедрости хорошо знает тот, кто пробовал вырвать что-нибудь из твоих

когтей. Ты так похотлив, что грешишь даже с самим собою, но ведь и человек, не стесняясь, использует для этого собственное тело. В дерзости ты превзойдешь любого наглеца, как и он — самого безбожного бродягу. Ты умащаешь себя грязью, а он мазью. Ты не можешь усидеть на месте, а он не может удержать в покое свой рассудок, который, подобно точильному станку, вечно находится в движении. Твои выходки потешают простой люд, а над его безумствами смеется весь мир. Ты надоедлив, он невыносим. Ты всех боишься, и тебя боятся, но и он тоже подвержен страху и всем внушает страх. Твои грехи ни с чем не сравнимы, его — неисчислимы. Ты скалишься на каждого, кто подходит к тебе без лакомства, а он косо смотрит на всякого, кого не может использовать к своей выгоде. Он так же равнодушен к своему бесчестью, как ты — к бесцеремонному с тобой обращению. И, думаю, недаром великие мужи так часто похожи на обезьян, а обезьяны выглядят в точности как великие мужи.

Но заметьте, сатрапы, что среди великих мужей, похожих на Багаттино<sup>3</sup> (так зовут мою обезьянку), я не числю короля Франции<sup>4</sup>, потому что будучи, как мы, человеком он являет собою подобие Божьего образа. И, покуда он с нами, мы можем надеяться на милосердие Божие.

Возвращаясь к тебе, Багаттино, скажу, что если б ты не был знатоком, как и подобает великому мужу, я, пожалуй, извинился бы перед тобою за неприличные разговоры, которые я выпускаю в свет под сенью твоего имени (оно должно послужить им на пользу, как идут на пользу всем сочинениям великие имена, которым эти сочинения обычно посвящаются), и напомнил бы о вергилиевской «Приапее», о непристойностях, которые позволяли себе Овидий, Ювенал и Марциал<sup>5</sup>. Но поскольку ты, как всякий великий муж, отличаешься большою ученостью, ничего этого я говорить не буду, а просто подожду, когда ты меня укусишь в награду за то, что я тебя обессмертил. Все великие мира сего платят этой монетой авторам посвященных им лауд, просто для того чтобы приобщиться к учености именно

так, как приобщаешься к ней ты. Если б я осмелился, я бы заметил, что душою они схожи с тобой, но, пожалуй, лучше будет сказать так: великие мужи скрывают свои пороки с помощью книг, которые им посвящаются, так же, как ты скрываешь свое уродство под одеждой, которую я приказал для тебя сшить.

Ну а теперь, благороднейший Багаттино (именно так обращаются обычно к великим мужам, достойным, как и ты, подобного величия), можешь хватать эти листы и рвать их в клочья. Ведь и великие мира сего порою не просто рвут посвященные им страницы, но еще и подтираются ими, несмотря на хвалу, которую воздают им продажные музы, что, задрав подол, бегут за своими покровителями. Великие мужи всегда умеют оценить их по достоинству, как, должно быть, умеешь это и ты. Я уверен, что если бы ты владел человеческой речью, ты сказал бы, что в рассказе Нанны о жизни монахинь чувствуется злость, которая несколько не уступает твоей. Нанна — это цикада, которая стрекочет все, что приходит ей на ум, но ведь у монахинь, к которым простой люд относится хуже, чем к девкам, в самом деле дурная слава. Вокруг них все настолько пропиталось духом Антихриста, что смрад их пороков заглушает благоухание цветов девственности настоящих невест Христовых. Одно только упоминание об этих невестах наполняет мою душу тем чувством святости, которое мы ощущаем, находясь подле них; так, сказавшись среди роз, мы чувствуем их благоухание. А тот, кто хочет услышать голоса ангелов, должен послушать, как поют они свои священные гимны, умеряя гнев Господень, склоняя Его простить нам наши грехи. Так что Нанна рассказывает не о тех монахинях, которые действительно приняли обет девственности, а о тех, что смердят подобно дьяволу. И точно так же, как я никогда не стал бы поклоняться никакому другому королю, кроме христианнейшего короля Франциска<sup>6</sup>, воспевать кого-либо, кроме Великого Антонио да Лева, восхвалять какого-либо герцога, кроме флорентийского, превозносить какого-либо кардинала, кроме Медици, служить другому маркизу, кроме маркиза дель Вас-

то, почитать другого князя, кроме князя Салерно, водить дружбу с любым другим графом, кроме Массимиано Стампа<sup>7</sup>, так же я ни за что не осмелился бы не то что написать, даже вообразить себе то, что говорится о монахинях на этих страницах, если б не был убежден, что мое раскаленное перо выжжет язвы, которыми похоть запятнала тех, что должны быть как лилии в саду, а они, напротив того, замарали себя грязью, да так, что сделались противны не только Небу, но и Аду. Я надеюсь, что рассказ мой станет тем целительным острым ножом, посредством которого хороший врач отсекает больной член, для того чтобы остальные сохранить здоровыми.

---

## Антония и Нанна

### ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

**Антония:** Что с тобой, Нанна? Разве пристал столь озабоченный вид женщине, у которой весь мир в кармане?

**Нанна:** Это у меня-то мир в кармане?

**Антония:** Разумеется. Озабоченной пристало быть мне, которая не нужна теперь никому, кроме французской болезни; а ведь у меня — пускай я бедна — есть своя гордость; я же знаю, что нисколько не погрешу против истины, если скажу, что я и сейчас еще хоть куда!

**Нанна:** Ах, дорогая Антония, у каждого свои заботы; тебе странно, но есть они и у тех, у кого, ты считаешь, не жизнь, а праздник. Поверь: мир, который, ты говоришь, у меня в кармане, устроен довольно-таки скверно.

**Антония:** Да, для меня, но не для тебя: ведь тебе разве что птичьего молока не хватает. По всему городу, на площадях и в остериях, только и речь, что о тебе, — все Нанна да Нанна. И дом твой всегда гудит как улей, потому что вокруг тебя пляшет весь Рим. Так венгры на празднике пляшут мореску.

**Нанна:** Ты верно говоришь, но мне от всего этого нет никакой радости. Я как та новобрачная перед богато накрытым столом, которая из стыдливости не решается приступить к трапезе. В общем, сестричка, как-то мне беспокойно. Впрочем, хватит об этом.

**Антония:** Ты вздыхаешь?

**Нанна:** А что мне еще остается?

**Антония:** Напрасно ты вздыхаешь. Берегись, Гос-

подь Бог может сделать так, что у тебя действительно будет из-за чего вздыхать.

Нанна: Но как же мне не вздыхать, сама подумай! У меня шестнадцатилетняя дочь, Пиппа, и мне надо как-то устроить ее судьбу. И вот, один мне говорит: «Отдай ее в монастырь. Мало того, что сохранишь три четверти приданого, в святцах появится имя еще одной святой». А другой советует: «Выдай ее замуж, ты так богата, что даже не заметишь того расхода». А третий уговаривает сделать из нее дорогую куртизанку. «Мы, — объясняет он, — живем в мире порока, и если хорошенько все продумать, то можно сделать так, что в куртизанках твоя дочь сразу же станет настоящей синьорой; а с твоими деньгами да ее заработками она заживет просто как королева». От этих советов у меня прямо-таки голова идет кругом. Так что, как видишь, и у Нанны есть свои неприятности.

Антония: Для такой женщины, как ты, подобные неприятности — все равно что небольшой зуд для человека, который, придя вечером домой, может спустить перед огнем штаны и с наслаждением почесаться. Настоящие неприятности — это видеть, как все вокруг дорожает; настоящая беда — это когда не хватает вина; настоящее горе — платить за квартиру, и совсем уже смерть — дважды в год лечиться примочками из гваякулы, но так и не избавиться от волдырей, нарывов и болей. Поэтому я просто удивляюсь, что ты можешь огорчаться из-за таких пустяков.

Нанна: Что же тут удивительного?

Антония: А то, что ты, родившаяся и выросшая в Риме, никак не можешь сообразить, что делать с Пиппой, хотя должна была бы разрешить все свои сомнения с закрытыми глазами. Скажи, разве ты сама не была монахиней?

Нанна: Была.

Антония: А замужем?

Нанна: Была и замужем.

Антония: А разве ты не была куртизанкой?

Нанна: Была, я и сейчас куртизанка.

Антония: Так что же, из этих трех вещей ты не можешь выбрать, которая лучше?

Нанна: Видит Мадонна, не могу.

Антония: Почему?

Нанна: Потому что и монахини, и замужние женщины, и куртизанки живут сейчас совсем не так, как прежде.

Антония: Ха-ха-ха! Жизнь всегда была точно такой, как сейчас: люди и раньше то ели, то пили, то спали, то бодрствовали, то ходили, то стояли, и женщины всегда писали через шелку. Расскажи мне, как жили монахини, замужние и куртизанки в твое время, и, клянусь семью церквами<sup>8</sup>, которые я по обету должна посетить во время ближайшего Поста, я в двух словах объясню тебе, как поступить с Пиппой. И хотя ты прошла целую школу, прежде чем стать тем, что ты есть, я бы хотела, чтобы начала ты с монастыря: почему ты не решаешься отдать Пиппу в монахини?

Нанна: Хорошо, я согласна.

Антония: В самом деле, расскажи-ка мне обо всем; тем более что сегодня день Святой Магдалины, нашей заступницы, и делать нам все равно нечего. А так как я хорошо поработала, то у меня на целых три дня хватит запасов хлеба, вина и солонины.

Нанна: В самом деле?

Антония: В самом деле.

Нанна: Ну, так сегодня я расскажу тебе о жизни монахинь, завтра о жизни замужних женщин, а послезавтра — о жизни девок. Садись рядом, устраивайся поудобнее.

Антония: Вот, села, можешь начинать.

Нанна: Мне хочется начать с проклятий тому монсиньору Не-Скажу-Как-Зовут, который заставил меня произвести на свет дочку, сделавшуюся сейчас такой обузой.

Антония: Ну, полно, не сердись.

Нанна: Антония, дорогая, монашество, замужество и потаскушество — это как перекресток: очутившись на нем, начинаешь думать, какой путь избрать, и дьявол частенько толкает нас на самый дурной. Так под-

толкнул он в свое время моего отца (благослови, Господи, его душу), решившего отдать меня в монастырь вопреки воле матери (да святится ее память), которую ты, наверное, знала (ах, какая была женщина).

Антония: Я помню ее смутно, но говорят, что она творила на улице Банки<sup>9</sup> настоящие чудеса, и еще я слышала, что твой отец, который был помощником капитана городской стражи, женился на ней по любви.

Нанна: Не напоминай мне о моем горе, ведь Рим — это уже не Рим, после того как он овдовел, потеряв такую супружескую пару. Так вот, возвращаясь к моей семье: в первый день мая мона Мариетта (так звали мать, хотя у нее было еще прозвище Прекрасная Тина) и съёр Барбьераччо (так звали отца), собрав всю родню — дядьев и дедов, кузин и кузенов, племянников и братьев, а также пригласив целую ораву друзей и подруг, повели меня в церковь при монастыре. На мне было шелковое платье, подпоясанное ниткой серого янтаря, шитая золотом шапочка, поверх которой был надет веноч девственницы, сплетенный из роз и фиалок, надушенные перчатки, бархатные туфельки, и, если я не ошибаюсь, то и жемчуг, обвивавший мою шею, и все остальное принадлежали Паньине<sup>10</sup>, которая вскоре после этого ушла в монастырь.

Антония: Ну, конечно, ей, а кому же еще!

Нанна: Убранная, как новобрачная, я вошла в церковь, в которой были тыщи людей, и все разом ко мне обернулись. Одни говорили: «Какую прекрасную невесту получит Господь!», другие: «Какая жалость отдавать в монахини такую красавицу!»; кто-то меня благословлял, кто-то пожирал глазами, а кто-то заметил: «Неплохой подарочек достанется какому-нибудь монаху», но я тогда не поняла дурного смысла этих слов; и еще я услышала несколько страстных вздохов и поняла, что они вырвались из глубины души моего возлюбленного, который во время церемонии не переставая плакал.

Антония: Как, у тебя были любовники еще до того, как ты стала монахиней?

Нанна: Ну, надо быть совсем уж дурой, чтобы не

иметь возлюбленного, только у нас все было чисто-невинно. Сначала меня посадили в первом ряду, впереди всех других женщин, а когда началась месса, поставили на колени между матерью, Тиной, и тетей, Чамполиной. Монах на хорах исполнил короткую лауду, а когда месса кончилась и мое монашеское одеяние, лежавшее в алтаре, получило благословение, два священника, тот, кто читал Послание, и тот, который читал Евангелие, подняли меня с колен и снова поставили, но теперь уже на скамеечку перед главным алтарем. Священник, служивший мессу, окропил меня святой водой, и, пока он, вместе с другими, пел «Te Deum»<sup>11</sup>, а потом еще множество других лауд и псалмов, с меня сняли мое светское платье и надели монашеское. В церкви при этом стоял такой же шум, какой бывает всегда, когда (будь то в Сан Пьетро или в Санто Янни<sup>12</sup>) какая-нибудь девушка, то ли повредившись в уме, то ли отчаявшись, то ли преследуя какие-то хитрые цели, дает замуровать себя в крипте, как однажды это сделала я.

Антония: Да-да, я так и вижу тебя в окружении всей этой толпы.

Нанна: Когда церемония закончилась и меня под пение «Benedicamus», «Oremus» и «Alleluia»<sup>13</sup> окурили ладаном, вдруг с таким же скрипом, с каким открываются и закрываются ящички для пожертвований, отворилась какая-то дверь. Меня подняли с колен и повели к выходу, где стояло в ожидании десятка два сестер во главе с настоятельницей. Я присела перед ней в красивом реверансе, а она поцеловала меня в лоб и сказала что-то моему отцу, матери и всем родственникам, которые плакали в три ручья. В тот момент, когда за мной затворялась дверь, я услышала «Увы!», которое заставило вздрогнуть всех присутствовавших.

Антония: Из чьих же уст вырвалось это «Увы»?

Нанна: Из уст моего бедного возлюбленного, который, насколько я знаю, на следующий день подался то ли в нищенствующие монахи, то ли в обсерванты у францисканцев<sup>14</sup>.

Антония: Несчастный!

Нанна: После того как за мной затворилась дверь, да так быстро, что я не успела попрощаться с родными, я, разумеется, решила, что меня похоронили заживо, что сейчас я увижу женщин, умертвивших свою плоть бичеванием и постом, и заплакала уже не о родных, а о себе самой.

Повесив голову, раздумывая о своем будущем, я дошла до трапезной, где меня бросилась обнимать целая толпа монахинь. Услышав, что меня называют сестрой, я подняла глаза и при виде такого множества свежих, гладких, румяных лиц немного успокоилась и стала увереннее глядеть по сторонам.

«Видно, — говорила я себе, — не так страшен черт, как его малюют». А тут еще откуда ни возьмись появилась целая орава священников и монахов, а среди них несколько мирян, все такие красивые, здоровые и веселые, каких мне до этого не доводилось видеть. А когда каждый из них взял за руку свою подругу, мне показалось, что передо мной ангелы, справляющие небесный бал.

Антония: Небеса не трогай!

Нанна: Мне показалось, будто это резвятся с нимфами влюбленные юноши.

Антония: Вот эдак будет приличнее. Продолжай.

Нанна: Взяв своих подруг за руку, они одаривали их поцелуями, словно соревнуясь в том, чей поцелуй окажется слаще.

Антония: И у кого же, по-твоему, сахару было больше?

Нанна: У монахов, разумеется.

Антония: По какой же это причине?

Нанна: По той самой причине, которая приводится в легенде о странствующей венецианской блуднице<sup>15</sup>.

Антония: Ну и что было дальше?

Нанна: А дальше все сели за стол, и это было одно из самых замечательных застолий, на которых мне когда-либо приходилось бывать. На почетном месте сидела госпожа настоятельница с господином настоятелем по левую руку, за настоятельницей шла мать

казначейша, рядом с которой сидел бакалавр, напротив — причетница с наставником новициев, а затем, одна за другой, все сестры монахини, и рядом с каждой — монах или мирянин, и так до конца стола, где разместились служки и послушники. Меня посадили между проповедником и монастырским духовником. Потом начали подавать блюда, да такие, что, думаю, не снились и самому папе. На время первой атаки разговоры смолкли, так что впору было подумать, что слово «Молчание», осеняющее зал, где вкушают пищу священнослужители, всем сковало уста. Вернее, не уста, а языки, потому что уста как раз издавали звуки в точности такие, как издают шелковичные черви, когда наконец подрастают и после долгого воздержания начинают пожирать крону деревьев, в тени которых забавлялся бедняжка Пирам с бедняжкой Тисбой<sup>16</sup>, да не оставит их Бог там, как не оставлял он их здесь.

Антония: Ты имеешь в виду тутовое дерево?

Нанна: Ха-ха-ха!

Антония: Чего ты смеешься?

Нанна: Вспомнила одного толстого монаха. Да простит меня Бог, но этот монах, который перемалывал пищу, словно жерновами, и у которого щеки были такие толстые, что казалось, будто он играет на трубе, так вот — он поднес ко рту бутылку и залпом выпил ее до дна!

Антония: И ведь не дал Господь захлебнуться!

Нанна: Утолив первый голод, они начали тараторить, да так, что мне показалось, будто я не за столом, а на рынке, на площади Навоны, где голоса покупателей, торгующихся с жидами, сливаются в один сплошной гул. Насытившись, они стали выбирать на блюдах куриные головки, гребешки и кончики крылышек. Выбрав, дама подносила их кавалеру, а кавалер даме, и были они в этот момент похожи на ласточек, которые кормят птенцов. А сколько было смеху и шуток, когда кому-то подносили гузку, и сколько из-за нее велось споров!

Антония: Вот греховодники!

Нанна: Меня чуть не стошнило, когда я увидела,

как одна монахиня, разжевав кусочек, прямо из собственного рта предлагает его своему другу.

Антония: Какая гадость!

Нанна: После того как еда перестала доставлять удовольствие и наступило, как это всегда бывает, пресыщение, они принялись на манер немцев произносить тост за тостом. Генерал<sup>17</sup> поднял большой бокал корсиканского вина и, призвав хозяйку последовать его примеру, проглотил его залпом, словно то было не вино, а причастие. От вина глаза у всех сначала заблестели, как зеркало, потом затуманились, как бриллиант, если на него дохнуть, и наконец начали закрываться. Казалось, что все сборище, не в силах сопротивляться сну, вот-вот повалится прямо на блюда с кушаньями и превратит стол в одну общую постель, но тут в комнате появился какой-то красивый юноша. Он нес корзину, прикрытую куском батиста, такого тонкого и такого белого, какого мне еще не приходилось видеть. Что там снег, что иней, что молоко — он превосходил белизной даже полную луну!

Антония: И зачем он принес корзину? Что в ней было?

Нанна: Погоди, всему свое время. Отвесив всем испанский поклон, из тех, что приняты в Неаполе, юноша сказал: «Доброго здоровья вашим милостям, — и добавил: — Преданный слуга всей честной компании шлет вам эти плоды земного рая». После чего откинул платок и поставил корзину на стол. И тут раздался взрыв смеха, оглушительный, как раскат грома, а может, лучше сказать, что вся компания разразилась смехом, как раздражается плачем семейство, когда видит, что глаза главы дома закрылись навеки.

Антония: У тебя очень хорошие, живые сравнения.

Нанна: При виде этих райских плодов руки всех мужчин и всех женщин, которые уже начали беседовать со щеками, грудями, шёлками, бедрами и винтами с тою же непринужденностью, с какой руки воришек роются в карманах ротозеев, позволяющих им очищать

свои кошельки, — так вот, все руки потянулись к корзине и стали разбирать ее содержимое, как в день Сретенья прихожане разбирают свечи, которые разбрасывают с порога церкви.

Антония: И что же это были за плоды?

Нанна: Стеклянные, из тех, что изготавливают в Венеции, на острове Мурано, только эти были сделаны в форме х., и у каждого было по два бубенца, больших, как у тамбурина.

Антония: Ха-ха-ха! Довольно, довольно, я поняла!

Нанна: Та, которой достался самый длинный и толстый, была не то что довольна — счастлива, а ее подруги целовали каждая свой и при этом приговаривали: «С этой штучкой нам не страшны плотские желания».

Антония: Чтоб дьявол истребил все их семя!

Нанна: Я держала себя как Простушка-Только-Что-Из-Деревни, лишь искоса поглядывая на стеклянные плоды, и была, наверное, похожа на кошку, которая не сводит глаз со служанки, а сама тем временем пытается подцепить лапкой кусок мяса, по забывчивости оставленный без присмотра; но, если б не моя соседка, которая, взяв две штуки, не поделилась со мной, я бы, наверное, сама взяла свой, чтобы не казаться совсем уж душой. Короче говоря, среди всей этой болтовни и смеха поднялась из-за стола настоятельница, за ней потянулись остальные, и „Benedicite“<sup>18</sup>, которое она произнесла на прощанье, она сказала по-итальянски.

Антония: Бог с ним, с „Benedicite“. Скажи лучше, куда вы пошли, встав из-за стола.

Нанна: Я как раз собираюсь об этом рассказать. Мы прошли в комнату, расположенную на первом этаже, просторную, прохладную, всю расписанную фресками.

Антония: И что на них было изображено? Великопостное покаяние?

Нанна: Какое там покаяние! Картины были такие, что даже ханжа не удержался бы и бросил взгляд. Их было четыре, по числу стен. Первая изображала

жизнь святой Нафиссы<sup>19</sup>: вот она, двенадцатилетней девушкой, в порыве милосердия раздает свое приданое разбойникам и мошенникам, сельским священникам, стремянным и прочим достойным людям. А вот, оставшись без гроша, сидит она, *verbigrazia*<sup>20</sup>, на мосту святого Сикста<sup>21</sup>, вся такая печальная, такая благочестивая, и ничегошеньки-то у нее нет, кроме скамеечки, туники и собачонки да еще клочка мятой бумаги на конце расщепленной палки, которой она обмахивалась и отгоняла мух.

Антония: И чего она дожидалась, сидя на скамейке?

Нанна: Она желала совершить богоугодный поступок — одеть тех, кто наг<sup>22</sup>. И ведь такая молоденькая! Ну вот, значит, сидела она на картине, воздев глаза к небу и приоткрыв рот, так что мне показалось, будто она поет ту самую песенку, где говорится:

Что же делает мой милый?  
Почему он не идет?

А потом она была нарисована стоя. Обернувшись к тому, кто из застенчивости не решался испросить ее милостей, она с приветливым и милосердным видом сама к нему подходила и, взяв за руку, вела на гумно, где обычно утешала страждущих. Сначала она задирала ему подол, потом развязывала штаны и, добравшись до жаворонка, осыпала его такими ласками, что он горделиво поднимал головку и раздвигал ей ноги с таким же пылом, с каким жеребец, сорвавшись с узды, бросается на кобылицу. Наша же святая, считая себя недостойной смотреть ему в лицо, а может быть (так полагал проповедник, рассказывавший нам о ее жизни), просто не решаясь взглянуть на него в ту минуту, когда он, распалившись и раскалившись, чуть ли не дымился, поворачивалась спиной, щедро подставляя ему зад.

Антония: За это ей должно воздаться на том свете.

Нанна: Да ей уже за все воздали, она же святая!

Антония: И то верно.

Нанна: В общем, чего там только не было нарисовано, всего не перескажешь. Был там, к примеру, и народ израильский, их она тоже привечала и ублажала, и все во имя *Amore Dei*<sup>23</sup>. Были изображены и те, что, вдоволь полакомившись, уходили, зажав в кулаке деньги, которые чуть ли не силой навязали ей другие. Иными словами, она заботилась о каждом, кто над ней потрудился, так, как заботится о путнике давший ему приют: щедрый хозяин не только поит гостя и кормит, но и дает ему средства, чтобы тот мог продолжить путь.

Антония: О благословенная, о непорочная госпожа наша святая Нафисса, научи меня идти по твоим святейшим стопам.

Нанна: А в самом конце было в натуральном виде представлено все, что она давала с собою проделывать: и спереди, и сзади, и с парадного хода, и с черного. На картине, изображающей ее гробницу, были показаны все позы, все приемы, которые она оставила в наследство этому миру, прежде чем отойти в тот. Так вот, даже в майском салате не бывает столько трав, сколько способов вставить ключ было нарисовано на картине с ее могилой.

Антония: Как бы мне хотелось взглянуть на эти картины.

Нанна: На второй стене была изображена история Мазетто ди Ламполеккио<sup>24</sup>, и клянусь тебе, они казались живыми, эти две монахини, которые наткнулись в саду на мошенника, притворявшегося спящим, и, увидев, как на его мачте парусом подымается рубаха, увели его с собою в шалаш.

Антония: Ха-ха-ха!

Нанна: И невозможно было удержаться от смеха при виде двух других, которые, узнав о шашнях своих подружек, решили к ним присоединиться, ничего не говоря настоятельнице, и были поражены, когда Мазетто знаками объяснил, что не согласен. В самом конце мы остановились перед изображением многомудрой настоятельницы, которая решила, что будет справедливо, если и она пригласит доброго молодца поужинать и

провести с нею ночь; ну а тот, испугавшись, что в конце концов надорвется, однажды ночью вдруг заговорил. Посмотреть на это чудо сбежалась вся деревня, а монастырь с тех пор стал считаться чудотворным.

Антония: Ха-ха-ха!

Нанна: Если я не ошибаюсь, на третьей стене были портреты всех монахинь этого ордена с их любовниками и родившимися от них детьми, причем под каждым портретом было написано имя.

Антония: Прекрасный памятник!

Нанна: На последней стене были воспроизведены все способы, какими мужчина может овладеть женщиной, и все позы, какие она при этом должна принять; монахини, прежде чем пуститься во все тяжкие, были обязаны их выучить. Это делалось для того, чтобы потом они не осрамились, как это нередко бывает с теми, которые, и встав на четвереньки, остаются — ни рыба ни мясо, и мужчине, который имеет с ними дело, кажется, что он ест фасоловый суп, не заправленный ни солью, ни оливковым маслом.

Антония: Так значит, искусству фехтования должна обучать опытная наставница?

Нанна: Конечно! Это очень хорошо, когда есть учительница, которая может показать неопытной женщине, как ей следует себя вести, если мужчина в порыве страсти захочет оседлать ее на комод, на лестнице, на стуле или даже на площади. Для того чтобы научить всему этому прекрасных монахинь, требуется столько же терпения, сколько нужно для того, чтобы приручить собаку, или попугая, или скворца, или галку. Научить руку держать кий проще, чем научить ее гладить птичку, которая не хочет вставать на лапки.

Антония: Ты думаешь?

Нанна: Я в этом уверена. Ну так вот, когда картины, а также замечания и шутки по их поводу всем надоели, то мгновенно, с тою же быстротой, с какой одолевают дорогу лошади, участвующие в палио<sup>25</sup>, или, лучше сказать, с тою же быстротой, с какой исчезают во время обеда куски мяса с тарелок прислуги или лепешки со стола голодного крестьянина, — вдруг

исчезли и монахини, и монахи, и священники, и миряне, а с ними и служки, и послушники, и даже тот, кто принес стеклянные игрушки. Со мной остался только бакалавр. Поняв, что я одна, я, трепеща, молчала. Он же сказал: «Сестра Кристина! (Таким именем нарекли меня после того, как переодели в монашеское платье.) Мне выпала обязанность отвести вас в келью, где, подвергая испытаниям вашу плоть, будет спасаться ваша душа». Я решила поначалу немного поломаться и, насупившись, ничего ему не отвечала. Но когда он взял меня за руку и при этом я чуть не выронила стеклянную сосиску, мне не удалось удержаться от смеха, и он, осмелев, решился меня поцеловать. Ну а так как я родилась от милосердной, а не от каменной матери, я нисколько не противилась и только лукаво поглядывала на него снизу вверх.

Антония: Это ты правильно сделала.

Нанна: Ну а потом я пошла за ним, как слепец за собакой. Что было дальше? Он привел меня в маленькую комнатку, которую отделял от соседних всего один ряд простых кирпичей, так плохо скрепленных раствором, что через щели можно было увидеть все, что там происходит. Бакалавр только было открыл рот, дабы сказать мне, прежде чем уложить в постель, что моя красота посрамит красоту феи, а также «Прелесть моя», «Сердце мое», «Дорогая», «Любимая», а может быть, еще и прочесть подходящий к случаю стишок, как вдруг до нас донеслось: «Тут-тук-тук». Это «тук-тук-тук» напугало бакалавра и весь монастырь так, как внезапно распахнувшаяся дверь пугает полчища мышей, которые собрались вокруг кучи орехов и теперь от страха не могут вспомнить, через какую щель они сюда пробрались. Бакалавр и все его товарищи, толкаясь и теснясь, бросились прятаться от покровителя монастыря, викарного епископа. Это его «тук-тук-тук» испугало всю компанию — так громкий голос или брошенный камень пугает лягушек, вылезших посидеть на речном откосе, и заставляет их дружно броситься обратно в реку. Викарный епископ уже почти дошел до кельи настоятельницы, которая вместе с генералом

на скорую руку служила там мессу прямо при монахинях, и даже поднял руку, чтобы постучать, как вдруг обо всем позабыл, потому что — как рассказывала потом мать казначейша, — проходя через дортуар, увидел вдруг перед собой на коленях молоденькую монахиню, сложенную, как Анкройя или Друзиана ди Буова д'Антоня<sup>26</sup>, какими их изображают бродячие певцы и танцоры.

Антония: Хорошенькое было бы дело, если б он успел войти. Ха-ха-ха!

Нанна: Но в тот день судьба продолжала нас испытывать. Дело в том, что стоило викарию на минуточку присесть...

Антония: Это ты хорошо сказала...

Нанна: Как вдруг откуда ни возьмишь каноник, хранитель восковых табличек, который прибыл с известием, что епископ вот-вот приедет. Викарий тут же поднялся и поспешил в епископат, чтобы привести себя в порядок и выехать навстречу епископу, отдав распоряжения насчет колокольного звона. И как только он оказался за дверью, все вернулись к прерванным занятиям. Только бакалавру пришлось уехать, потому что он должен был от имени настоятельницы поцеловать руку почтенному прелату. Остальные же возвращались к своим возлюбленным и были похожи при этом на скворцов, которые возвращаются на оливковое дерево, откуда их только что согнало громкое «Кыш!» бедняги крестьянина, чувствующего, как отдается в его сердце каждый удар клюва.

Антония: Я жду, когда ты перейдешь к делу, как ждет ребенок, чтобы кормилица сунула сосок ему в рот. Мне всегда казалось, что нет более мучительного ожидания, чем то, которое выпадает нам в Страстную Субботу, когда пост вот-вот кончится и ты уже начинаешь лупить яйца.

Нанна: Хорошо, перейдем к quia<sup>27</sup>. Оставшись одна и чувствуя себя уже влюбленной в бакалавра, поскольку мне казалось неподобающим противиться обычаю, принятым в монастыре, я принялась обдумывать все, что увидела и услышала за эти пять-шесть часов.

А так как в руке я по-прежнему держала стеклянный пестик, я стала его рассматривать — так рассматривают ужасного мраморного дракона на стене церкви Пополо те, кто видят его впервые. Меня в этом драконе больше всего поражают ужасные шипы, в точности такие, как у рыбы, которую недавно выбросило на берег в Корнето. Разглядывая стеклянную игрушку, я никак не могла понять, что особенного находят в ней монахини. И вот, пока я обо всем этом размышляю, до меня вдруг доносятся взрывы такого беспечного смеха, что он мог бы расшевелить и покойника. Так как смех становился все громче, мне захотелось узнать, где смеются. Поднявшись со стула, я приложила ухо к одной из щелей, а затем, вспомнив о том, что в темноте лучше видно одним глазом, закрыла левый, а правым уставилась в дырочку, которую нашла между кирпичами. И вот смотрю я и вижу... Ха-ха-ха!

Антония: Что, что ты увидела? Не томи!

Нанна: Я увидела в келье четырех монахинь, генерала и трех молодых, кровь с молоком, послушников, которые, сняв с почтенного старца его сутану, надели на него атласную рясу, прикрыли тонзуру шитой золотом шапочкой, а на нее водрузили бархатный берет с хрустальными висюльками и белым плюмажем. Потом его подпоясали шпагой, и бравый генерал принялся расхаживать по комнате тяжелым шагом Бартоломео Кольони<sup>28</sup>, обращая ко всем с сильным бергамским акцентом. Тем временем монахини сняли юбки, а монахи — сутаны, и монахини, вернее три из них, надели их сутаны, а та, которая облачилась в сутану генерала, с важным видом расселась в кресле и стала по-генеральски отдавать разные распоряжения.

Антония: Какая прелесть!

Нанна: Главная прелесть еще впереди.

Антония: Да что ты говоришь!

Нанна: Я знаю, что говорю. Почтенный святой отец подозвал послушников и, опершись на спину одного из них — тонкого, хрупкого и не по возрасту высокого, двум другим предоставил вынуть из гнезда своего воробушка, который вел себя тише воды, ниже тра-

вы. Тот, что был самым ловким и самым красивым, положил воробушка себе на ладонь и начал гладить его по спинке, как гладят кошку; но если кошка начинает от этого безудержно мурлыкать, то воробышек поднялся на лапки, да так, что доблестный генерал, зацапав самую хорошенькую и молоденькую из монахинь, задрал ей подол на голову, приказал упереться лбом в спинку кровати и, бережно раскрыв посредине трепник ее зада, погрузился в созерцание. Зад был не настолько худым, чтобы выглядеть плоским, но и не настолько жирным, чтобы излишне выпячиваться; он был точно такой как надо. Пухленький и подрагивающий, он сиял, как сияет на просвет слоновая кость; на обеих булочках, говоря по-флорентийски, красовались ямочки, которые бывают на подбородке и на щечках хорошеньких женщин, а мягкостью они могли бы поспорить с мышкой, родившейся и всю жизнь прожившей на мельнице, в мукé. Кожа на них была такой гладкой, что рука, положенная на круп, тут же соскальзывала к ноге, словно поскользнувшись на льду, и невозможно было представить себе ни единого волоска на этой коже, как невозможно представить его на яйце.

Антония: Так что же, его святейшество генерал так и провел целый день в созерцании?

Нанна: Ничего подобного! Засунув свою кисточку в баночку с краской (предварительно он смочил ее слюной), он заставил сестру извиваться и дергаться так, как извиваются и дергаются женщины во время родов или приступа истерии. А для того чтобы гвоздь прочнее сидел в дырке, он сделал знак своему Бычку-Еще-Теленочку, и тот, спустив с него штаны, воткнул свой клистир в ...visibilium его святейшества<sup>29</sup>, который тем временем не сводил глаз с двух других послушников: разложив двух монахинь на кроватях, они вовсю толкли соус в ступке, приводя в отчаяние третью. Третья была дурнушка, смуглая кожей, немного косоглазая; увидев, что отвергнута живыми монахами, она взяла стеклянного, налила в него теплой воды, приготовленной для омывания рук мессира, потом бросила на пол подушку, легла на нее, уперлась ногами в сте-

ну и, воткнув в себя этот огромный епископский посох, ввела его внутрь, как шпагу в ножны. При виде их наслаждения я испытывала такие муки, каких не знает даже ростовщик, терпящий убыток, и расчесывала себе мохнатку так, как чешет зад о крышу январская кошка.

Антония: Ха-ха-ха! Чем кончилась забава?

Нанна: После того как они потрудились эдак с полчаса, генерал сказал: «А сейчас — все вместе, а ты, мой огурчик, поцелуй меня, и ты тоже, моя голубка». Шаря одной рукой в кошельке ангелицы, а другой поглаживая булочки херувима, он целовал то ее, то его, и лицо у него было искажено мукой, как у той мраморной статуи, которую душат змеи вместе с детьми<sup>30</sup>. В конце концов и те монахини, что лежали со своими приятелями в постели, и генерал, и та, что была под ним, и тот, что был на нем, и та, которая лакомилась муранской морковкой, стали работать согласованно, как это делают певцы — или кузнецы, стуча кувалдами. И покуда они не кончили, только и слышалось: «А-а-а!», «Обними крепче», «Повернись», «Сладкий язычок», «Дай», «На», «Вытащи», «Всади глубже», «Погоди, я сейчас», «Помоги». Одни говорили придуренными голосами, другие как будто мяукали, а все вместе они напоминали певцов, что сеют фа-соль на ми-до. Выпучив глаза и громко сопя, они так подпрыгивали и так бились, что столы, комоды, спинки кроватей, скамейки, миски вели себя, как дома во время землетрясения:

Антония: Пли!

Нанна: Восемь вздохов, одновременно вырвавшихся из печени, из легких, из сердца, из души его святейшества и всех прочих, слились в настоящий ветер, который мог бы, наверное, потушить восемь факелов. Отдуваясь, без сил, они повалились кто куда, как пьяные. Так как все тело у меня затекло от неудобной позы, я быстренько отодвинулась от щелки и села, бросив взгляд на стеклянную штучку.

Антония: Погоди, а почему вздохов было восемь?

Нанна: Что ты такая мелочная, ты лучше слушай!

Антония: Ну хорошо, говори.

Нанна: Глядя на стеклянную штучку, я чувствовала, что все больше распаляюсь, хотя того, что я видела, хватило бы, чтобы распалить целый скит камальдулов<sup>31</sup>. В конце концов я поддалась искушению.

Антония: *E libera nos a malos*<sup>32</sup>.

Нанна: Не в силах больше терпеть желания, которое жгло меня изнутри, и не имея теплой воды, как та монахиня, которая показала мне, что нужно делать с хрустальной грушей, я просто пописала в ручку этой стеклянной лопатки.

Антония: Как это?

Нанна: А там была такая специальная дырочка для воды. Но зачем тебе эти подробности? Потом я аккуратно приподняла подол и, положив стеклянный шар на комод, ввела в себя самый кончик и начала потихоньку утолять свою похоть. Зуд был острым, а головка стеклянной рыбки очень большой, так что вместе со сладостью я чувствовала и боль, но сладость была сильнее боли; мало-помалу рыбка входила в мою посуду. Вся в поту, но, как паладин, не позволяя себе отступить, я наконец всадила ее в себя так глубоко, что едва не упустила, и, когда она вошла, я почувствовала, что умираю и что эта смерть сладостнее, чем самая блаженная жизнь. Я дала рыбке немного поплавать, но когда поток, пенясь, вышел из берегов, вытащила и почувствовала, что внутри у меня все горит, — так горят ляжки у шелудивого, когда он перестает их расчесывать. Потом я взглянула на рыбку и вдруг увидела, что она вся в крови, и вот тут-то я едва не закричала, что хочу исповедаться.

Антония: Почему?

Нанна: Как почему? Я же подумала, что ранила себя насмерть. Сую руку себе в устье, вытаскиваю и вижу, что она такого же цвета, как парадные перчатки епископа. Конечно, я зарыдала, начала рвать на себе волосы, точнее, то, что от них осталось после пострига, — в общем, завела «Плач на Родосе».

Антония: Ты хочешь сказать, в Риме; мы же с тобою в Риме<sup>33</sup>.

Нанна: Ну, пускай в Риме, если тебе так больше нравится. Но кроме того, что я боялась умереть, я еще ужасно боялась настоятельницы.

Антония: А что, ты думала, она тебе может сделать?

Нанна: Я боялась, что, допытываясь, откуда кровь, и узнав истинную причину, она велит отправить меня в тюрьму, связав по рукам и ногам, как мошенницу. Но даже если не так, даже если б в качестве наказания она просто приказала мне рассказать обо всем се-страм, — ты думаешь, этого мало, чтобы заплакать?

Антония: Конечно!

Нанна: То есть как «конечно»?

Антония: Ты свалила бы все на монахиню, которая на твоих глазах точно так же забавлялась со стеклянной игрушкой, и тебе ничего бы не было.

Нанна: Да, но ты забыла, что у той не было крови. В общем, что говорить, мое положение было куда хуже. Тем временем я вдруг слышу, что ко мне стучат. Утерев слезы, я встаю, со словами «Gratia plena»<sup>34</sup> отворяю дверь и вижу, что это пришли звать меня на ужин. Но, памятуя о том, сколь нечестиво, совсем не так, как подобает монахине, я провела день, я сказала, что сегодня вечером хотела бы попоститься; к тому же и вид крови отбил у меня аппетит. Закрыв дверь и приперев ее метлой, я, оставшись одна, снова с беспокойством сунула руку в устье, но, увидев, что кровь больше не идет, немного приободрилась. От нечего делать я вернулась все к той же щели, которая теперь светилась изнутри, так как с наступлением темноты монахини зажгли свечу; заглянув, я увидела, что они все голые. Если б генерал с монахинями и новициями были постарше, я уподобила бы их Адаму и Еве в окружении других душ Лимба<sup>35</sup>. Но оставим сравнения Сивиллам. Генерал велел своему Бычку-Еще-теленочку, тому самому длинному и тонкому хорошенькому новицию, влезть на квадратный стол, который в другое время служил обитательницам кельи, этим христианнейшим

служительницам сатаны, для трапез. Поднеся ко рту генеральский посох, как герольды подносят трубу, он — «Та-ра-ра-ра!» — открыл турнир: «Та-ра-ра-ра! Его величество Султан Вавилонский приглашает доблестных участников турнира выйти на поле с копьем наперевес; тот, кто сломает больше копий, получит в награду гладенький персик без пушка, которым будет лакомиться всю ночь».

Антония: Замечательное воззвание! Должно быть, черновик составил ему учитель. Ну, дальше.

Нанна: Участники турнира выстроились в ряд и, выбрав в качестве мишени зад той самой смуглянки, которой недавно приходилось довольствоваться стеклянной морковкой, бросили жребий. Первым выпало быть «герольду»; приказав приятелю трубить все время, пока он трудится, он пришпорил себя пальцами и вонзил свою пику по самую рукоятку в задний щит подружки и, так как удар стоил трех, удостоился множества похвал.

Антония: Ха-ха-ха!

Нанна: После него жребий пал на генерала; разбежавшись с пикой наперевес, он вбросил ее в кольцо того, кто уже забросил свою пику в кольцо подружки; и пока все трое оставались в этой позе, неподвижные, как каменная изгородь между крестьянскими наделами, настал черед монахини. Так как у нее не было настоящей пики, она взяла стеклянную и с первого же удара проткнула ею генерала, а из уважения к его чину еще и придавила лобком ему луковицы.

Антония: Хорошо она его приложила.

Нанна: Дошла очередь до второго новиция, и его стрела мгновенно поразила мишень; затем следующая монахиня, подражая подругам, воткнула стеклянную пику с бубенцами в *utriusque* новиция<sup>36</sup>, который при этом дернулся, как раненый угорь. Наконец остались последние, она и он, и это было очень смешно. После того как она вогнала петушка на палочке — того, что достался ей сегодня утром, — в дупло подруге, а он, оказавшийся последним, вонзил ей в зад свою пику, все вместе они стали выглядеть как нанизанные на вертел

грешники, которых, устраивая себе масленицу, поджаривает на сатанинском огне Люцифер.

Антония: Ха-ха-ха! Вот это, я понимаю, веселье!

Нанна: А та смугляночка оказалась очень занятой; пока ее толкли и мяли, она так забавно шутила; что я рассмеялась, да так громко, что меня услышали и я поспешила отодвинуться от щелки. Оттуда что-то крикнули, и когда через некоторое время я снова заглянула в щелку, оказалось, что она завешена простыней; так я и не узнала, чем кончился турнир и кто получил награду.

Антония: Ну вот, самого интересного ты меня лишила!

Нанна: Так ведь и меня лишили! Я тоже жалею, что не дождалась минуты, когда на икру пролились молоки. Но пока я ругала себя за то, что засмеялась и из-за этого лишилась места у амвона, вдруг слышу...

Антония: Что ты слышишь? Не тяни, говори быстрее.

Нанна: Сквозь щели в стенах моей комнаты я могла видеть три кельи.

Антония: Хороши же были стены! Что твое решето.

Нанна: Видно, их не особенно старались заделать, потому что монахиням нравилось подглядывать друг за другом. Ну, так это или не так, но я вдруг слышу вздохи, сопение, тяжелое дыхание — в общем, такой шум, что впору подумать, будто где-то рядом человек десять мучается от ночных кошмаров. Прислушавшись (это было за стеной как раз напротив той, за которой проходил турнир), я уловила беседу вполголоса и тут же прикинула глазом к щелке. В щелку я разглядела двух толстеньких свеженьких монахинь с задранными кверху ногами: четыре белые пухлые ляжки, подрагивающие так, словно были сделаны из простокваши. Каждая придерживала рукой стеклянную морковку, и одна говорила другой: «Надо быть сумасшедшей, чтобы поверить, будто телесный голод можно утолить

этой дрянью, у которой нет ни рта, чтобы целовать, ни рук, чтобы нажимать на нужные клавиши. Да если б даже и были! Пойми, уж если поддельные доставляют такое удовольствие, каково же должно быть с настоящими! Бедные мы, бедные! Тратить свою молодость на эти стеклянные штуки!» — «А знаешь что, сестрица, — отвечает ей подруга, — вот тебе мой совет: поезжайка ты вместе со мной». — «Куда?» — спрашивает та. «В Неаполь, — говорит ей подруга. — Сегодня на рассвете я бегу отсюда с одним парнем; у него есть товарищ, он ему как брат, вот как раз случай для тебя. Вырвемся из этой пещеры, из этой гробницы и насладимся молодостью, как и должны наслаждаться молодые женщины». Подругу, легкую на подъем, не пришлось долго уговаривать; она приняла приглашение и тут же, вместе с товаркой, швырнула об стену свою стеклянную морковку; чтобы заглушить звон разбивающегося стекла, обе тут же завопили: «Кошка! Кошка! Держи кошку!», — надеясь, что все подумают, будто это кошки перебили стекло в их комнате. Затем они спрыгнули с кровати, быстренько связали в узел свои пожитки и вышли из комнаты. Я же осталась — и вот спустя некоторое время слышу за другой стеной какие-то странные звуки: словно бы кто-то там рвет на себе волосы, раздирает платье, царапает лицо, всплескивает руками, о чем-то причитает: «Увы, увy! О, горе мне!» Честное слово, я даже подумала, уж не загорелась ли колокольня, но потом, прикинув глазом к щелке, увидела, что это покровительница наша, госпожа настоятельница, плачет там ну прямо как пророк Иеремия.

А н т о н и я: Настоятельница?

Н а н н а: Да, настоятельница монастыря, благочестивая наставница монахинь.

А н т о н и я: И что же с ней случилось?

Н а н н а: Насколько мне удалось разобрать из ее причитаний, исповедник хотел ее убить.

А н т о н и я: То есть как это?

Н а н н а: В самый разгар забавы он вытащил за-

тычку из бочки, решив заткнуть ею дымоход, и бедняжка, распалившаяся, вошедшая в самый вкус, упала к его ногам и чем только не молила — и стигматами, и Страстями Господними, и семью радостями<sup>37</sup>, и „Pater noster“ святого Юлиана<sup>38</sup>, и покаяниями, и псалмами, и тремя волхвами, и звездой, и Sancta Sanctorum<sup>39</sup>, — но так и не смогла уговорить этого Нерона, этого Каина, этого Иуду воткнуть обратно в грядку свой порей. Сохраняя на своем лице насмешливую мину Марфорио<sup>40</sup>, он силой и угрозами заставил ее повернуться задом, голову сунуть в печку и, шипя как змей, с пеной на устах, — ну прямо людоед! — воткнул-таки свой черенок в ямку с удобрениями!

А н т о н и я: Злодей!

Н а н н а: Воткнув же, он наслаждался тем, что то вынимал, то всаживал его обратно, смеясь при звуке, который при этом получался: что-то вроде «чмок-чмок-чмок» — так шлепают по раскисшей глине паломники, порою оставляя в ней свои башмаки.

А н т о н и я: Да его четвертовать мало!

Н а н н а: Несчастливая, с головою, засунутой в печку, казалась духом содомита в пасти дьявола. В конце концов святой отец, тронутый ее причитаниями, позволил ей вытащить голову из печки и, не ссаживая ее со своего прута, прямо на нем донес ее, дюжий молодец, до табурета. Приказав страдальце упереться в него руками, он начал обрабатывать ее с проворством, какое и не снилось музыканту, играющему на клавишине; она же, получив возможность двигаться, все норовила повернуться, чтобы припасть к устам, вкусить языка своего исповедника, и при этом высовывала свой, огромный, как у коровы, а руку святого отца зажимала, как клещами, створками своих ворот.

А н т о н и я: Ты не поверишь, но я прямо молодею, слушая твой рассказ!

Н а н н а: Открыв плотину и спустив воду, святой отец завершил наконец свои труды; он вытер надушенным платком свой пестик и душистую чашечку дамы, и, немного отдышавшись, они заключили друг друга

в объятия. «О моя фазаниха, моя павлиниха, моя голубка, душа души моей, сердце моего сердца! — говорил ей сластолюбивый патер. — Разве это справедливо, чтобы твой Нарцисс, твой Ганимед, твой ангел не мог хотя бы разок попользоваться твоими филеями?» А она отвечала: «О мой гусак, мой лебедь, мой ястреб, упование упований, наслаждение наслаждений, надежда надежд, а тебе кажется, это справедливо, что твоя нимфа, твоя служанка, твоя забава даже на один миг не может соединиться с тобою так, как велит природа?» И тут она внезапно так укусила его в губы, что на них остались черные следы от зубов, а он вскрикнул от боли.

Антония: Какая прелесть!

Нанна: После этого благочестивая настоятельница завладела сокровищем своего возлюбленного и стала его целовать; не в силах выпустить из рук, она то покусывала его, то делала вид, что жует, — так щенок забавляется с чьей-то рукой или ногой, доставляя удовольствие тому, кого кусает; и бесстыжий монах, хотя и вскрикивал «Ой! Ой!», — наслаждался этим покусыванием.

Антония: Могла бы действительно откусить кусочек, дурочка!

Нанна: В то время как простушка настоятельница забавлялась со своим сокровищем, в дверь тихо постучали; оба замерли, но, услышав приглушенный свист, поняли, что это ученик исповедника, и тут же его впустили. Тот прекрасно знал, какие молитвы они здесь читают, и поэтому его можно было не бояться. Больше того: коварная настоятельница тут же выпустила из рук зяблика святого отца и ухватила за крылышки щегленка, принадлежавшего сыну, потому что прямо-таки умирала от желания подставить его смычку струны своей лиры. «Любовь моя, — сказала она святому отцу, — мог бы ты доставить мне одно удовольствие?» — «Хорошо, что ты хочешь?» — «Я хочу, — сказала она, — натереть этот сыр на своей терке, но с условием, что ты засунешь свою птичку в дупло твоего духовного сына. Если тебе понравится, мы начнем

скачку, если нет, перепробуем все способы, но найдем что-нибудь себе по вкусу». Дождавшись, когда рука отца Галассо спустила парус, обнажив мачту ученика, почтенная матрона села, распахнула клетку, запустила в нее соловья, а потом, ко всеобщему удовольствию, завалила всю компанию себе на живот. Должна сказать, мне было нелегко смотреть на эту кучу малу: госпожу настоятельницу отбили и оттередили так, как хороший сукновал отбивает сукно. Наконец они разрядили свои арбалеты, она сбросила с себя поклажу, и игра закончилась; и ты даже представить себе не можешь, сколько они потом выпили вина и съели сластей.

Антония: Как только ты терпела, глядя на все эти совокупления?

Нанна: Да, я действительно роняла слюнки, наблюдая, как на моих глазах взламывают настоятельницу, но так как при мне был мой стеклянный кинжал...

Антония: Небось ты все время нюхала его, как гвоздику.

Нанна: Ха-ха-ха! Так вот, я так распалилась, глядя на эту битву, что вылила из стеклянной палки остывшую мочу и, наполнив ее теплой, уселась сверху, загнав набалдашник в парадный ход. Про себя же я решила, что потом перемещу его в черный, чтобы попробовать и это: ведь никогда не знаешь, что понравится тебе больше!

Антония: Это ты правильно сделала, вернее, правильно решила.

Нанна: Так я и елозила взад и вперед, чувствуя необыкновенную сладость в переднем отсеке даже тогда, когда набалдашник полировал мне дымоход; взвешивая все «за» и «против», колеблясь между «да» и «нет», я все думала, стоит ли загонять внутрь весь инструмент целиком или ограничиться его частью; наконец, я все-таки впустила бы пса в конуру, но в этот момент я услышала, что исповедник с учеником, по видимому уже одевшись, прощаются с убоготворен-

ной настоятельницей, и поспешила к щелке, чтобы увидеть их ужимки при расставании. Настоятельница изображала из себя маленькую девочку и сюсюкала: «И когда же это вы теперь вернетесь? Господи ты Боже мой, и кого же это я так люблю? И кого же это я так обожаю?» Святой отец клялся Литаниями и Пришествием Христа, что вернется завтра же вечером, а юноша, прощаясь, еще тяжело дышал и подтягивал штаны. Я услышала, как, выходя, исповедник затянул «Ресога сапрі»<sup>41</sup>, которую читают во время вечерни.

Антония: То есть негодяй делал вид, что читает молитвенник?

Нанна: Вот именно. Как только вышеназванный удалился, я услышала шум за другой стеной и поняла, что это участники турнира: они закончили соревнование, получили призы и, прежде чем разойтись, дали помочиться своим коням, да так, что мне показалось, будто это полил первый августовский дождь.

Антония: Чтоб их!

Нанна: Да, вот еще о чем я должна рассказать. Те две монахини, которые собрали свои пожитки и убежали, вернулись в свою келью. Насколько я могла понять по их ворчанью, вернулись они потому, что входная дверь оказалась запертой по приказу настоятельницы, которую они честили на чем свет стоит. Однако подружки не особенно огорчились, потому что, спускаясь по лестнице, они, оказывается, заприметили дремавшего там погонщика мулов, два дня назад поступившего на службу в монастырь, и, заприметив, решили прибрать его к рукам. И вот теперь одна из них говорила своей подруге: «Поди разбуди его и скажи, чтобы он принес на кухню охапку дров. Он подумает, что ты кухарка, пойдет за тобою следом, а ты приведи его к нашей двери и скажи: «Сюда!» Лишь бы разбойник оказался в комнате, остальное можешь предоставить своей сестричке». Та, к которой обращались, не заставила себя уговаривать и тут же согласилась. Но тут я заметила, что не только они устроили засаду в своей келье.

Антония: Что ты хочешь сказать?

Нанна: Я обнаружила, что рядом с их кельей находилась еще одна комната, изукрашенная, как покои куртизанки, со стенами, обшитыми сандаловым деревом. В ней находились еще две служительницы Бога, которые были заняты тем, что накрывали на стол, убирая его с необыкновенной изысканностью. Они расстелили на нем скатерть из белого дамаска, которая благоухала лавандой сильнее, чем благоухают мускусом звери, что нам его доставляют; потом разложили на нем салфетки, тарелки и вилки на трех человек так ровно и аккуратно, что просто невозможно себе представить, затем, вынув из корзинки множество самых разных цветов, принялись с большим изяществом раскладывать их на скатерти. Посредине одна из сестер поместила лавровый венок, в который были красиво вплетены белые и пурпурные розы; ленты, которые делили поверхность стола, были украшены флер-д'оранжем; внутри лаврового венка цветами огуречника было выложено имя викарного епископа, которого ждали в тот день вместе с монсиньором. И это — скорее в его честь, в честь викария, а не его святейшества Митры<sup>42</sup> звонили в тот день колокола («дин-дон-дин-дон»), помешав мне услышать множество историй, которые я могла бы тебе рассказать. Тем временем другая монахиня выкладывала на каждом углу стола какой-нибудь красивый узор: на первом она с помощью душистых фиалок изобразила Узел Соломона; на втором сделала лабиринт из цветов бузины; на третьем выложила сердце из чайных роз, пронзенное стрелой из гвоздики, причем бутон цветка служил острием: он был полуоткрытым, и казалось, что острие запачкано кровью; над всем этим синими цветами огуречника она изобразила свои запавшие от слез глаза, а сами слезы выложила из крохотных, едва проклюнувшихся бутончиков флер-д'оранжа; на последнем углу было рукопожатие: руки были сделаны из жасмина, а *fides*<sup>43</sup> — из желтых фиалок. Покончив с цветами, одна из сестер принялась протирать фиговыми листьями хрустальные стаканы и отполировала их до серебряного блеска; другая тем временем, набросив на ска-

меечку батистовую салфетку, расставила на ней стаканы по ранжиру, а посредине поместила графинчик в форме груши; из графинчика, в котором была вода, настоенная на флер-д'оранже, свисал край льняной салфетки для вытирания рук — так свисают по обе стороны лица у епископа ленты его митры. На полу около поставца стоял медный таз, в который можно было смотреться, как в зеркало: так отполировали его руки, песок и уксус; в тазу в холодной воде покоились две бутылки из прозрачного стекла, и казалось, что в них налито не вино, красное и белое, а расплавленный рубин и расплавленный топаз. Когда все было готово, одна из сестер вынула из ларя хлеб, похожий на примятый комок хлопка, и протянула его подруге. Та положила его на нужное место, и только тут они получили возможность передохнуть.

Антония: Конечно, так возиться со столом могли только монахини, у которых много свободного времени.

Нанна: Так вот, сидят они и ждут, а между тем бьет два часа\* и самая нетерпеливая говорит: «Быстрее отстоять рождественскую мессу, чем дожидаться викария». А другая ей отвечает: «Ничего тут удивительного, что он запаздывает. Ведь епископ, который завтра проводит конфирмацию, мог отослать его с любым поручением». Тут они принялись болтать, чтоб не скучать в ожидании, но прошел еще целый час, и тогда они наперебой стали обзывать викария теми самыми словами, какими обзывает священников маэстро Пасквино<sup>44</sup>; «Свинья, бездельник, лентяй», — честили они его; потом одна подбежала к огню, на котором кипели два каплуна — такие жирные, что под конец жизни, наверное, уже не могли двигаться, и над которыми вертел прогибался от тяжести откормленного

---

\* Т. е. девять часов вечера. В средние века сутки делились не на равновеликие часы, а на часы дня и часы ночи: первые — от восхода до заката солнца, вторые — от заката до восхода. Летом часы дня были длиннее часов ночи, зимой — наоборот. Сутки, кроме того, делились на ряд отрезков — канонических часов (*horae canonicae*); обычно их было семь, и обозначались они боем церковных часов.

фазана, — и хотела было вышвырнуть все это за окошко, но ее удержала подруга. Между тем этот дурак, погонщик мулов, которому было велено принести охапку дров в комнату монахини, подавшей своей задушевной приятельнице свой замечательный совет, перепутал дверь — хотя та, что водрузила ему на плечо вязанку дров, все хорошо объяснила — и в самый разгар сумаатохи появился со своими дровами в комнате, где ждали монсиньора. Когда поджидавшие погонщика подружки поняли, куда он вошел, они принялись царапать себе лицо от огорчения.

Антония: Ну, а что сделали те, что стояли в карауле?

Нанна: А что бы сделала ты на их месте?

Антония: Уж я бы случай не упустила.

Нанна: Вот и они не упустили. Неожиданному появлению погонщика мулов они обрадовались так, как радуются голуби при виде наживки, и оказали ему королевский прием. Заперев дверь на засов, чтобы лис не сбежал из капкана, они посадили его между собой и вытерли ему лоб свежесвыстиранной салфеткой. Погонщику было лет двадцать; безбородый, пухлый, белокожий, рослый, с широким, как дно у четверика, лбом, с филеями, как у аббата, — эдакий Прочь-Заботы, эдакий А-Где-Это-Тут-Гуляют, он был даже слишком хорош для того, что они задумали. Увидев перед собой на столе каплунов и фазана, он сначала соорудил смешную гримасу, а потом принялся заглатывать огромные куски и при этом пил как сапожник. Зато для монахинь, которым не терпелось узнать, как отбивает сукно его молоток, каждая минута ожидания казалась тысячелетием, и они ковырялись в кушаньях с видом человека, которому не хочется есть. И если б самая похотливая, не в силах больше терпеть, как иногда не может больше терпеть отшельник, не вцепилась в его дудку, как коршун в цыпленка, погонщику мулов удалось бы устроить себе настоящий пир. Однако при первом же прикосновении он поднял свое орудие — так трубач в замке Святого Ангела подымает трубу, — и из ножен показался кусок лезвия, длине

которого позавидовал бы сам Бевилаква<sup>45</sup>; не выпуская его из рук, первая монахиня дождалась, когда ее товарка отодвинет столик, и, засунув игрушку себе между ног, оказалась на вертеле у погонщика, который продолжал сидеть; а так как, приступив к работе, он проявил столько же сдержанности, сколько бывает ее у толпы, когда, получив святое благословение, она теснится на мосту Святого Ангела, стул опрокинулся, и оба полетели вверх тормашками, как обезьяны; увидев, что ключ выскочил из скважины, вторая монахиня, которая все это время только роняла слюни, как старая кобыла, испугалась, что непокрытая головка может простудиться, и накрыла ее своей *verbigrazia*<sup>46</sup>; однако это так рассердило первую сестру, из которой вынули затычку, что она схватила подругу за горло, и той пришлось выплюнуть даже ту малость, которую она успела проглотить; вынужденная прервать начатое дело, она бросилась на товарку с кулаками, и началась драка не хуже тех, в которых любят схватываться нищенствующие во имя святого Павла.

Антония: Ха-ха-ха!

Нанна: Дурачок бросился их разнимать, но тут я почувствовала, что кто-то подошел ко мне сзади и, положив руки на плечи, шепнул: «Добрый вечер, любимая!» Я вздрогнула от испуга, потому что, поглощенная дракой этих взбесившихся баб (не могу назвать их иначе), позабыла обо всем на свете. «Ой, кто это?» — спросила я, почувствовав на своих плечах эти руки, и обернулась, готовая позвать на помощь, но, увидев, что это бакалавр, который отлучался встречать епископа, успокоилась. Тем не менее я сочла нужным ответить ему так: «Святой отец, я не из тех, что вы думаете... отойдите... нет, нет, не надо, я не хочу... только не сейчас... я закричу... Боже меня упаси, да лучше я вскрою себе вены... никогда... нет... я же сказала, никогда... вам должно быть стыдно... хороши же вы, нечего сказать...» А он в ответ говорил: «Возможно ли, чтобы за обличем Херувима, Престола и Серафима<sup>47</sup> скрывалось такое жестокосердие? Я ваш раб, я вас обожаю, вы мой алтарь, моя вечерня, моя

молитва и моя месса... если вам хочется, чтоб я умер, — вот нож, пронзите мне грудь, и вы увидите, что на моем сердце золотыми буквами написано ваше имя». С этими словами он попытался вложить мне в руку красивый кинжал с серебряной позолоченной рукоятью и лезвием, наполовину сделанным из дамасской стали. Но я отказалась его взять и так и стояла, молча, опустив глаза и повернувшись к нему спиной, пока он своими речами, звучащими, как рассказ о Страстях Христовых, не вскружил мне голову настолько, что я перестала артачиться.

Антония: Ну и что? Это лучше, чем довести мужчину до того, что он примет яд или заколется. Ты поступила милосерднее, чем самаритянка. Всякая порядочная женщина должна следовать твоему примеру. Но рассказывай дальше.

Нанна: Смутив мою душу этой своей монашеской преамбулой, в которой он врал, как врут испорченные часы, и даже больше, бакалавр бросился в атаку, приговаривая «Laudamus te»<sup>48</sup>, как будто благословлял пальмовую ветвь, и так меня заговорил, что я позволила ему продолжать. А что мне еще, Антония, оставалось делать?

Антония: Да конечно же, ничего!

Нанна: Ну, так я продолжаю... Да, а знаешь что?

Антония: Что?

Нанна: Настоящий показался мне не таким жестким, как стеклянный.

Антония: Тоже мне, открытие!

Нанна: Да нет, в самом деле, клянусь Распятием!

Антония: К чему клятвы, я тебе и так верю!

Нанна: Затем мне показалось, что я обмочилась, но это была не моча...

Антония: Ха-ха-ха!

Нанна: Это была какая-то белая пена, вроде той, что бывает у улиток. На первый случай он, извини за выражение, обработал меня трижды: два раза на старинный манер, один — на современный, и, что бы там ни говорили, современный мне не понравился. Вот не нравится он мне — и все.

Антония: Ты не права.

Нанна: Еще как права. Тот, кто это придумал, видно, так наелся, что ему ничего уже не хотелось, кроме... ну, ты понимаешь, что я хочу сказать.

Антония: Не болтай глупостей: это блюдо — кушанье для знатоков!

Нанна: Ну и пусть их. Так я продолжаю. После того как бакалавр дважды водрузил знамя над крепостью и один раз над равелином, он спросил, не хочется ли мне поужинать, и я, поняв по его дыханию, что уж он-то наелся до отвала, как гусь у жида, сказала, что уже поужинала. Тогда он посадил меня к себе на колени и, обняв одной рукой за шею, другой стал гладить мне то груди, то щеки, перемежая эти ласки такими смачными поцелуями, что я не уставала благословлять день и час, когда стала монахиней, потому что чувствовала себя здесь, как в раю. Но тут в голову бакалавру пришла мысль поводить меня по монастырю. «А поспим днем», — сказал он. Я же, успевшая увидеть столько чудес всего в четырех комнатах, подумала, что для того чтобы пересмотреть всё, что творится в остальных, понадобится лет эдак сто. Бакалавр снял башмаки, а я домашние туфельки, и, держась за его руку, я пошла за ним следом, ступая по полу так, будто боялась раздавить скорлупку яйца.

Антония: А ну-ка, вернись назад.

Нанна: Зачем?

Антония: А затем, что ты позабыла про тех двух монахинь, которые остались с носом, оттого что погонщик мулов ошибся дверью.

Нанна: Ах да, я действительно отвлеклась. Что касается тех бедолаг, то они выместили свою ярость на таганах: каждая запихала в себя шар, которым оканчивается этот железный прут, и дергалась, как разбойник, посаженный турками на кол; и если б та, которая закончила свой танец первой, не пришла на помощь другой, шар вышел бы у той через рот.

Антония: Ха-ха-ха! Вот это я понимаю!

Нанна: Ну а я тем временем, тихо как мышка, шла за своим доблестным возлюбленным; подходим

мы к комнате кухарки, которая по рассеянности не закрыла дверь, заглядываем внутрь и видим, что она там на собачий манер забавляется с паломником. Должно быть, она заманила его в дом, когда он остановился попросить подаяния, чтобы продолжить путь в монастырь святого Якова в Галиции. Плащ паломника лежал на сундуке, посох с табличкой, изображающей Святое Чудо, стоял у стены, с сумой, набитой кусками черствого хлеба, играла кошка, но, занятые своим делом, счастливые любовники ничего не замечали, как не замечали они и того, что дорожная фляга опрокинулась и из нее льется вино. Мы не стали терять время на созерцание столь грубых забав и послышали к двери ключницы; заглянув в скважину, мы увидели, что почтенная матрона, устав ждать своего утешителя, приходского священника, пришла в такое отчаяние, что привязала к балке веревку, встала на скамью и приладила к шее петлю; она уже собиралась оттолкнуть скамейку ногой и отверзала уста, чтобы вымолвить: «Я тебя прощаю», — как священник вдруг появился в дверях; увидев, что подруга вот-вот покончит счеты с жизнью, любовник бросился к ней и, приняв ее в свои объятия, сказал: «Что же это вы делаете, любовь моя? Неужто вы считаете меня обманщиком, способным изменить клятве? Что все это значит? Где же ваше благочестие, где оно?» В ответ на эти нежные слова она приподняла голову, как приподымает ее упавший в обморок, когда ему в лицо побрызгают холодной водой, и постепенно ожила, как оживают у огня закоченевшие руки и ноги. Отбросив в сторону веревку и скамеечку, священник положил ее на постель, и она, поцеловав его долгим поцелуем, промолвила: «Мои молитвы были услышаны; я хотела бы, чтобы вы поставили мое восковое изображение перед образом Святого Джиминьяно с надписью: «Она препоручила себя Богу и была спасена». Сказав это, она защемила сердобольного священника в своих воротах, а он, удовлетворившись для первого раза парадным входом, во второй пожелал зайти с черного.

Антония: Все время хочу тебя попросить, да за-

бываю: пожалуйста, говори по-человечески, то есть называй своим именем и «ху», и «пи», и «жо», потому что только члены Ученой Академии способны понять, что это такое — парадный вход и черный, гвоздь в дыре, порей на грядке, засов на двери, ключ в скважине, пестик в ступке, соловей в клетке, черенок в ямке, ворота, клистир, кинжал в ножнах, колышек, посох, пастернак, яблочки, этот самый, эта самая, *verbigrazia*<sup>49</sup>, эта штука, это дело, эта история, то самое, рукоять, стрела, морковь, корень и все остальное дерьмо, которое застревает у тебя в глотке, потому что ты хочешь ходить на цыпочках в деревянных башмаках... так что впредь там, где «да», говори «да», там, где «нет», — «нет», иначе — берегись!

Нанна: Тебе что, неизвестно, что именно в борделе особенно ценят приличие?

Антония: Ну хорошо, хорошо, говори как хочешь, только не сердись.

Нанна: Так вот я и говорю: взломав черный ход, он наслаждался, глядя, как его лом ходит туда-сюда; втыкая его и вытаскивая, он получал такое же удовольствие, какое получает кухарка, которая, месит тесто, то погружает, то вынимает из него кулаки. Затем этот новоявленный Арлотто<sup>50</sup>, пожелав испытать на прочность стебель своего мака, прямо на нем донес извивающуюся монахиню до постели. Запечатав ее воск своей печатью, он начал перекатываться с нею от изголовья кровати к изножью, а потом снова к изголовью и снова к изножью, так что то монахиня оказывалась под священником, то священник под монахиней, — то ты меня, то я тебя, — и так они катались, пока река не вышла из берегов, затопив простыню; тут они расцепились и отвалились друг от друга, словно брошенные кузнечные мехи, которые, вздохнув раз другой, замирают в неподвижности. Мы не могли удержаться от смеха, когда, вытащив из скважины ключ, священник отметил это тем, что пукнул (береги нос!), да так громко, что эхо отдалось по всему монастырю, и, если б мы не зажимали друг другу рты, нас бы обнаружили.

Антония: Ха-ха-ха! Да и кто бы па вашем месте удержался от смеха!

Нанна: Мы на цыпочках отошли (мой спутник знал свое дело) и за следующей дверью увидели наставницу послушниц в тот момент, когда она вытаскивала из-под кровати грязного как свинья носильщика и приговаривала: «Иди же, иди ко мне, мой троянский Гектор, мой Роланд... .. вот твоя служанка, прости ее за неудобства, которые она тебе причинила: она не могла поступить иначе»; а этот пентюх, задрав свои лохмотья, отвечал ей движением члена, которое она, не располагая переводчиком, знающим этот язык, перевела так, как подсказывала ей фантазия; она едва не лишилась чувств, когда наглец всадил свой ятаган в ее щит, а его волчьи клыки впивались в ее губы с такой силой, что слезы катились у нее из глаз. У нас не было сил смотреть на то, как медведь жует эту земляничку, и мы пошли дальше.

Антония: Куда же вы пошли?

Нанна: К следующей щелке. В ней мы увидели монахиню, которая выглядела так, как должна выглядеть Мать Дисциплины, Тетка Библии, Невестка Ветхого Завета: я едва осмеливалась поднять на нее глаза. Голова у нее была как вытертая волосяная щетка — десятка два волосков, к тому же кишевших гнидами; на лбу чуть ли не сотня морщин, густые брови были совсем седыми. из глаз текло что-то желтое...

Антония: Острый же у тебя глаз, если ты даже гниду различаешь на расстоянии!

Нанна: погоди, не мешай. Рот у нее был слюнявый, нос сопливый, челюсти, в которых осталось всего два зуба, походили на костяной гребень для вычесывания вшей, губы были тонкие, подбородок, треугольный, как голова генуэзца, был вдобавок украшен, как у львицы, пучками длинных волос, на вид острыми как шипы; груди висели, как два пустых мешка, прикрепленные к телу бечевками, а само тело — ужас! — все в гнойниках, с запавшим животом, с пупком, торчащим наружу. И еще — ты не поверишь — вокруг «пи» у нее был венок из капустных листьев, который

выглядел так, будто уже с месяц прикрывал голову шелудивого.

Антония: Святой Онофрий тоже носил вокруг срамного места круглую вывеску таверны.

Нанна: Тем лучше. Бедрa у нее были как два веретена, обтянутых пергаментом, а колени дрожали так, что, казалось, она вот-вот упадет; а если б ты видела ее икры, ее ступни, ее руки! Ты не поверишь, но ногти у нее на руках, все забитые грязью, были длиннее, чем тот, что отпустил на мизинце Рофффиано, желая следовать моде. Мы увидели ее в ту минуту, когда она, нагнувшись, рисовала куском угля на полу звезды, луны, квадраты, круги, буквы и разные другие магические знаки и, рисуя, заклинала демонов, называя их всеми именами, которые они, наверное, и сами-то не способны были запомнить. Потом, обойдя три раза вокруг магических фигур, она подняла голову к небу, по-прежнему что-то бормоча; затем взяла фигурку из белого воска (если ты когда-нибудь видела корень мандрагоры, ты можешь ее себе представить), пронзенную множеством иголок, поднесла ее к огню так близко, как это только было возможно, и стала поворачивать, как поворачивают над огнем — чтоб не подгорели — овсянок и жаворонков. При этом она произносила следующие слова:

Покуда не придет ко мне,  
Гореть он будет, как в огне.

А потом, повернув фигурку с такой яростью, с какой никогда не поворачивают хлеб на вертеле, добавила:

Пощекочу злодею кровь,  
Почует он мою любовь.

Когда же воск начал таять, она, уставившись в пол, сказала:

Конец волшбе: злодей придет,  
А не придет — тотчас умрет!

Едва она произнесла последние слова, как в дверь постучали, и было слышно, как тяжело дышит, словно спасаясь от погони, тот, кто за нею стоит; старуха бы-

стренько спрятала все свои колдовские штучки и отворила.

Антония: Так, как была? Голая?

Нанна: Да, так, как была, голая. И несчастный, влекомый к ней силой колдовства, как голодный влечется к пище, заключил старуху в объятия и стал целовать с такой страстью, будто то была Роза или Арколана<sup>51</sup>, расточая при этом хвалу ее красоте, как расточают ее те, кто пишет сонеты прекрасным Лоренцинам. А проклятая ведьма, кокетничая и жеманясь, говорила: «Взгляни на это тело! Разве не грех оставлять его на ночь в одиночестве?»

Антония: О Господи!

Нанна: Не буду портить тебе аппетита описанием старой трентинки<sup>52</sup>; скажу только, что я не захотела видеть остального, и, когда околдованный юноша, у которого едва пробился на щеках первый пушок, опрокинул ее на скамейку, я, как кошка Мазино, которая караулила мышей с закрытыми глазами, сделала вид, что ничего не вижу. Но пойдем дальше. После старухи мы заглянули к портнице, которая забавлялась со своим учителем портным: раздев его догола, она целовала ему рот, соски, колотушку и барабан, словно кормилица, которая так обцеловывает своего молочного сына: личико, ротик, ручки, краник, животик, попку, — что кажется, будто не он, а она его сосет. Мы уже устроились было поудобнее у дверного глазка, чтобы посмотреть, как портной будет раскраивать ей полы рясы, как вдруг слышим вопль, а после вопля визг, а после визга «О, горе мне!», а потом «О Боже!», которые нас не на шутку напугали. Прибежав на шум, заглушавший звук наших шагов, мы увидели женщину, у которой из трюма наполовину уже вышел ребенок головкой вперед, а когда вышел целиком, всю ее описал, сопровождая это громким и благовонным пуканьем. Увидев, что это мальчик, позвали отца, почтенного сторожа, который пришел в сопровождении двух монахинь среднего возраста и сразу же стал разыгрывать комедию, изображая важного господина. Он сказал: «Так как тут на столе есть и

бумага, и перо, и чернила, я сам выпишу ему свидетельство о рождении». Он понаставил на бумаге множество точек, соединил их между собой какими-то линиями и стал плести что-то про Дом Марса и Дом Венеры, а потом, обращаясь ко всем присутствующим, сказал: «Да будет вам известно, что мой незаконный сын, сын по крови и по духу, станет Мессией, Антихристом или Мельхиседеком». Но когда он пожелал рассмотреть щель, из которой вылез его сын, я дернула своего бакалавра за рукав и дала ему понять, что из потрохов меня могут интересовать разве что свежие свиньи.

Антония: Не отвлекайся, госпожа монахиня, рассказывай дальше.

Нанна: Ну хорошо, вот тебе еще одна история; за неделю до меня в этот монастырь была помещена братьями... не скажу барышня... в общем, Сама-Догадайся-Кто, а так как влюбленный в нее важный господин был очень ревнив (так мне сказали), настоятельница велела содержать ее в келье одну, на ночь запиравать, а ключ уносить. Но у девицы был юный возлюбленный, который, узнав, что зарешеченное окно кельи выходит в сад, стал по ночам, словно дятел, подниматься по стене к ее окну и, добравшись до решетки, просовывать в нее свой клюв. Как раз в эту ночь, о которой я рассказываю, он к ней и пришел; вцепившись руками в ненадежные прутья, он опрокинул свой кувшин в выставленную наружу чашку, и, когда на ее вафлю уже потек его мед, сладость обернулась для несчастного горечью...

Антония: Почему?

Нанна: Во время «Ну-давай-же-давай!» он настолько увлекся, что выпустил из рук прутья и упал на расположенную ниже крышу, с крыши на курятник, а с курятника на землю, сломав себе при этом бедро.

Антония: Переломать бы оба бедра настоятельнице, этой ведьме, которой захотелось, чтобы в борделе стали вдруг блюсти целомудрие!

Нанна: А что она могла сделать? Ведь она боя-

лась братьев девушки, которые поклялись, что сожгут ее вместе со всем монастырем, если до них дойдет дурная молва. Но возвращаюсь к моей истории. Молодой человек, обрабатывавший свою возлюбленную на собачий манер, упав, наделал столько шума, что все сбежались к окнам и, открыв ставни, увидели при свете луны разбившегося бедолагу. С постели подняли двух мирян с их как бы женами, послали в сад, и они на руках вынесли юношу из монастыря и положили на землю за стенами; должна тебе сказать, что разговоров об этом в тех краях было много. После этого скандала мы решили вернуться в келью; близился рассвет, и нам не хотелось, чтобы нас застали за подглядыванием и подслушиванием. Правда, по пути мы еще успели услышать непристойную историю, которую один толстый и веселый монах рассказал компании монахинь, священников и мирян; те всю ночь играли в кости и в карты, потом пили, а кончив пить, стали подбивать монаха развлечь их каким-нибудь рассказом. «Я, — сказал он, — расскажу вам историю про одного сторожевого пса, с веселым началом и печальным концом». Тут воцарилась тишина, и он приступил к повествованию. «Два дня назад, проходя по площади, я увидел сучку в охоте, за которой бежало дюжины две кобельков, привлеченных запахом ее петли: она была такая красная и такая распухшая, что была похожа на огненный коралл. Пока они ее обнюхивали, вокруг собралось десятка два мальчишек, чтобы посмотреть, как будет взбираться на нее один пес и, прижав раза два-три, уступать место другому. Я, разумеется, наблюдал всю эту картину с самым что ни на есть монашеским видом. Вдруг, вижу, появляется на площади большой дворовый пес, у которого такой вид, будто он состоит сторожем при всех мясных лавках на свете; схватив за шиворот одного из кобельков, он швырнул его на землю, затем принялся за другого и тоже не оставил на нем живого места; остальные бросились кто куда, а сам он, выгнув спину дугой, ощерившись как кабан, скосив глаза, ощерив зубы, с пеной у рта, стал оглядывать злосчастную сучку;

затем он обнюхал ее розочку и всадил ей два таких заряда, что она завывала, как взрослая сука, и, выскользнув из-под него, бросилась бежать; собачонки, которые наблюдали за происходящим издали, потрусили следом, а дворовый пес в ярости бросился за ними; заметив щель под запертыми воротами, сучка мгновенно проскользнула внутрь, а за ней все собачонки. Неповоротливый дворовый пес остался один, так как был слишком велик, чтобы последовать за остальными; не в силах проникнуть внутрь, он грыз ворота, рыл когтями землю, рычал, как рассерженный лев. Но вот прошло некоторое время, и из-под ворот показался один из тех бедолаг; злодей схватил его за шиворот и начисто откусил ему ухо; еще хуже обошелся он со вторым и так постепенно расправлялся с каждым, кто появлялся из-под ворот, покуда улица вокруг него не опустела — так пустеет деревня, когда в нее, распугивая крестьян, входят солдаты. В конце концов показалась и новобрачная; пес схватил ее за шиворот, вонзил ей в глотку клыки и задушил — в наидание окружающим, под крики толпы, собравшейся поглазеть на собачью свадьбу. И тут мы, не желая больше ничего ни видеть, ни слышать, пошли к себе и, пробежав еще эдак с милю в постели, заснули.

Антония: Да простит меня автор «Ста новелл»<sup>53</sup>, но после твоих рассказов его книжку можно отложить.

Нанна: Ну, зачем же так! Единственное, чего бы мне хотелось, — так это чтобы он признал, что у меня все живое, а у него нарисованное, как на картинке. Но ты думаешь, мне больше нечего тебе рассказать?

Антония: А что, есть что-нибудь еще?

Нанна: На следующий день я поднялась около полудня, даже не заметив, как покинул меня рано утром мой петушок. Идя на обед, я едва сдерживала улыбку, встречая грешников из Капернаума<sup>54</sup>, которых видела прошедшей ночью, но когда прошло несколько дней и я со всеми перезнакомилась, мне стало ясно, что не только я их видела, но и они меня видели, видели — в то время как я забавлялась с бакалавром. После обеда на амвон поднялся какой-то грязный мо-

нах и заговорил голосом таким громким и таким пронзительным, что ему должна была бы позавидовать городская стража, — он способен был покрыть расстояние от Кампидольо до Тестаччо; монах обратился к сестрам с увещанием, которое могло бы ввести в искушение даже звезду Дианы<sup>55</sup>.

Антония: Что же он сказал?

Нанна: Он сказал, что нет ничего противнее для природы, чем пустая трата времени, которое подарено нам для того, чтобы мы распорядились им ей на радость. Природа счастлива, когда видит, что ее создания растут и плодятся; самая большая для нее радость — это видеть женщину, которая в старости может сказать: «Прощай, Божий мир, оставайся с Богом». Из всех драгоценностей природе дороже всего молодые монахини, которым нравится служение Купидону; вот почему наслаждение, которое дарит монахиня, в тыщу раз сильнее, чем то, что можно получить с миряночкой. И еще он во всеуслышание заявил, что дети, родившиеся от монаха или монахини, — родственники Dissite и Verbumcaro<sup>56</sup>. Дойдя в самом конце до любви мошек и муравьев, он очень разгорячился, доказывая, что все выходящее из его уст на самом деле исходит из уст истины. Даже бродячих сказителей не слушают на городских площадях так внимательно, как слушали этого болтуна добропорядочные женщины. Благословив нас той самой, ну, ты меня понимаешь, стеклянной штукой длиной в три пяди, монах сошел с амвона; желая подкрепить силы, он начал хлестать вино, как хлещут лошади воду, и поедать сладости с прожорливостью осла, обгладывающего побеги. И даже родня не делает столько подношений священнику, отслужившему свою первую мессу, даже мать не дарит столько подарков дочери, выходящей замуж, сколько досталось этому монаху; когда он уехал, все начали развлекаться кто как может. Я вернулась в свою келью, и почти сразу же раздался стук в дверь; открываю — и вижу перед собой слугу бакалавра, который, любезно поклонившись, протягивает мне какой-то сверток и письмо, сложенное в виде оперенной стре-

лы или, точнее сказать, в виде наконечника стрелы. Сверху было написано... не могу вспомнить точно... погоди... Да, сверху было написано так:

Вместо чернил я писал слезами,  
Вздохами строки любви осушая,  
Пусть их откроют ворота Рая,  
Пусть Мое Солнце их прочитает.

Антония: О, совсем неплохо!

Нанна: А внутри чего только не было понаписано! Начиналось все с волос, которые мне обрезают в церкви, — он сообщал, что собрал их и заказал себе из них цепочку на шею; потом он писал, что мой лоб яснее ясного неба; что мои ресницы похожи на черное дерево, из которого вырезают гребни, а щеки — как кровь с молоком; мои зубы он сравнил с ниткой жемчуга, губы — с цветком граната; сделал длинное отступление о руках, в которых хвалил все, включая пальцы; и еще он написал, что мой голос звучит, как псалом «Gloria in excelsis»<sup>57</sup>, а о грудях сказал, что они восхитительны, что они как два яблока из теплого снега. В самом конце его перо соскользнуло вниз, к волшебному роднику; он писал, что мой родник источает «Manuscripti»<sup>58</sup> и манну небесную, что он был недостоин к нему припасть, что волоски на нем словно шелковые; о другой стороне медали он ничего не сказал, извинив себя тем, что понадобилось бы перо Буркьелло<sup>59</sup>, чтобы хотя бы приблизительно ее описать; заканчивал он тем, что будет «per infinita secula»<sup>60</sup> благодарен мне за щедрость, с которой я одарила его своим сокровищем, и клялся, что скоро придет ко мне снова. После слов «До свиданья, любимая» он вместо подписи поставил следующие слова:

Тот, кто на дивной груди возлежал  
Страстно влюбленный, все это писал.

Антония: Кто бы из нас не поднял юбку, получив такую канцону!

Нанна: Прочитав письмо, я сложила его и, прежде чем спрятать на груди, поцеловала; потом я заня-

лась свертком; разворачиваю его и вижу, что возлюбленный прислал мне молитвенник; вернее, я подумала, что это молитвенник — в переплете из зеленого бархата (что означает любовь), с шелковыми лентами. Улыбаясь, я беру его в руки, рассматриваю переплет, целую и говорю, что никогда не видела ничего красивее. И только после того как я отослала слугу с наказом поцеловать за меня хозяина, оставшись одна, я открыла книжку, намереваясь прочесть «Magnificat»<sup>61</sup>, и увидела, что внутри у нее картинки, на которых изображены забавы благочестивых монахинь. Увидев на одной из картинок монахиню, которая, выставив свои прелести из корзины без дна, при помощи каната приземляется прямо на стручок необъятных размеров, я так рассмеялась, что прибежала сестра, с которой я подружилась за это время. «Чего ты смеешься?» — спросила она, и я без обиняков ей все объяснила. Мы принялись рассматривать картинки вместе и получили от этого такое удовольствие, что решили, прибегнув к помощи стеклянного инструмента, испробовать изображенные там способы. Подружка приспособила его между ног так ловко, что он действительно казался инструментом мужчины, устремленным прямо к возжеленной цели; я же, запрокинувшись на спину, как одна из тех, что с моста Святой Марии<sup>62</sup>, положила ноги ей на плечи, и она, запихивая мне стеклянную игрушку то с парадного хода, то с черного, скоро довела меня до того, чего мне так хотелось. Потом мы поменялись местами, и я отплатила ей той же монетой.

Антония: Знаешь, Нанна, что я чувствую, когда слушаю твои рассказы?

Нанна: Что?

Антония: Я чувствую себя как человек, которому достаточно только понюхать лекарство — и он уже бежит в отхожее место.

Нанна: Ха-ха-ха!

Антония: Ты рассказываешь так живо, что я начинаю истекать слюной, даже не попробовав ни трюфеля, ни артишока.

Нанна: Только что ты упрекала меня за то, что я изъясняюсь намеками, а сама говоришь так, как разговаривают с ребенком: «У меня есть одна штучка, белая как гусь, но это не гусь, догадайся, что это такое».

Антония: Это я хочу тебе угодить, потому и говорю обиняками.

Нанна: Спасибо. Но вернемся к нашим прежним песням. После того как мы вдосталь позабавились, нам захотелось покрасоваться у решетки и колеса<sup>63</sup>, но пробиться туда нам не удалось, потому что к ним сбегались все, как сбегаются на освещенное солнцем место ящерицы. В церкви было как в Сан Пьетро или Сан Паоло в день Стацционе<sup>64</sup>; все, от монаха до солдата, были удостоены аудиенции; ты не поверишь, но я видела там даже еврея Якоба, который мирно беседовал с настоятельницей.

Антония: Мир погряз в пороке.

Нанна: Будь что будет, но я вот что еще тебе скажу: там был даже турок, из тех несчастных, что попали в плен в Венгрии.

Антония: Наверное, он принял христианскую веру.

Нанна: Я говорю только, что он там был, а уж крещен он или нет, этого я не знаю. Но какая же я была дура, когда обещала рассказать тебе о жизни монахинь за один день. Да они за один час способны натворить столько, что не расскажешь за год. Солнце вот-вот сядет, пора заканчивать; я словно всадник, который торопит коня; как бы ни был он голоден, — перехватив несколько кусков и отхлебнув воды, он должен тут же продолжать путь.

Антония: Позволь, я тебя перебью. В самом начале ты сказала, что мир теперь иной, чем был он в твоё время, и я думала, что услышу от тебя о жизни монахинь примерно то, что написано в Житиях.

Нанна: Значит, я неправильно выразилась; я имела в виду, что теперь монахини не такие, какими они были в древние времена.

Антония: Значит, ты просто оговорила.

Нанна: Да какое это имеет значение, я уж и не помню, как я сказала. У меня есть кое-что и поинтереснее. Так вот: дьявол ввел меня в искушение, и я, разумеется втайне от бакалавра, дала себя оседлать одному монаху, который только что закончил ученье; так повелось, что он, тоже ничего не знавший о бакалавре, то и дело забирал меня из монастыря, чтобы сводить куда-нибудь поужинать. И вот однажды он неожиданно явился вечером, сразу после «Ave Maria»<sup>65</sup>, и сказал: «Дорогая моя девочка, окажи любезность, позволь отвести тебя сегодня в одно место, где ты получишь огромное удовольствие; ты не только услышишь там божественную музыку, там тебе еще представят замечательную комедию». Так как в голове у меня гулял ветер, я, ни минуты не раздумывая, принялась с его помощью переодеваться: снимаю с себя монашеское одеяние и надеваю роскошное — мужской костюм, который подарил мне мой первый возлюбленный. Затем водружаю на голову зеленую шелковую шляпу с алым плюмажем и золотым фермуаром, накидываю на плечи плащ, и мы выходим. Всего два шага, и мы оказываемся в каком-то тупике, длинном и узком: мой приятель тихонько свистит, мы слышим на лестнице шаги, потом дверь около нас открывается, и на пороге появляется паж с канделябром, в котором горят белые восковые свечи. Держась за руки, мы поднялись по лестнице и очутились в роскошном зале. Паж с канделябром отодвинул занавес, за которым находилась соседняя комната, и сказал: «Прошу вас, ваша милость, входите». Мы вошли, и, как только я оказалась в комнате, все, кто там был, сняв шляпы, поднялись со своих мест: так делают прихожане, когда подходят в церкви под благословение. Это было место, где собирались парочками служители церкви всех рангов, сомнительное сборище, куда стекались отовсюду монахи и монахини, как стекаются к ореховому дереву Беневенто колдуны и колдуньи. Когда все снова сели, по залу прошел шепоток — все обсуждали мое личико, а личико, скажу я тебе, было у меня прехорошенькое.

Антония: Охотно верю; если ты и в старости так хороша, то уж в молодости, наверное, была хоть куда.

Нанна: Мы с моим другом и так были разгорячены, а тут еще зазвучала прекрасная музыка, взволновавшая меня до глубины души. Музыкантов было четверо, перед ними лежали ноты, и один из них, аккомпанируя себе на лютне, в лад с остальными спел «Дивные ясные очи». Потом настал черед балерины из Феррары, чей изящный танец всех привел в восхищение; она делала каприолы так, что даже козленок не сделал бы лучше. и все это с такой легкостью, Антония, с такой грацией, что просто не отвести глаз. А какое было чудо, когда она, поджав на манер цапли левую ногу, стала кружиться на правой, как кружится точильное колесо, и ее юбка, раздуваемая движением, превратилась в плоский круг и стала похожа на флюгер, который вращает ветер на крышах хижин, или на тот бумажный, который дети прицепляют к палке и потом бегут, вытянув ее перед собой, и радуются, когда он вертится так, что его становится почти не видно.

Антония: Благослови ее Бог!

Нанна: Ха-ха-ха! Я смеюсь, потому что вспомнила одного типа из этой компании, его называли Сын Джамполо, и, кажется, это был венецианец. Он прятался за дверью и говорил оттуда на разные голоса. Он так изображал носильщика, что ему позавидовал бы даже уроженец Бергамо<sup>66</sup>. Носильщик расспрашивал какую-то старуху о ее госпоже, а потом он же голосом старухи отвечал: «А чего тебе надо от моей госпожи?» А он ей: «Да хотел бы поговорить». А потом негодяй обращался уже прямо к даме: «О моя госпожа, я чувствую, что умираю, внутри у меня все кипит, как требуха в котелке». Разжалобив даму своими причитаниями, он начинал ее лапать и при этом отпускал такие словечки, что она уже вот-вот была готова нарушить обет воздержания и поста. Но тут появлялся впавший в детство старый муж и при виде носильщика поднимал жуткий крик: так кричит крестьянин, заставший вора в тот момент, когда он склады-

вает себе в мешок его вишню. А носильщик на это: «Ах, что вы, мессир!» — и все смеялся, все смеялся, изображая из себя дурачка. «Ну, иди с Богом, пьяный осел», — сказал наконец старый муж и, приказав служанке стащить с себя башмаки, принялся рассказывать жене какую-то ахинею про персидского и турецкого султана. Все просто помирали со смеху, когда он, распустив пояс, клялся никогда больше не есть кушаний, от которых пучит. А когда он улегся и захрапел, венецианец снова заговорил голосом носильщика: он вернулся к даме и так ее смешил и упрашивал, что она дала ему вытрясти свою горжетку!

Антония: Ха-ха-ха!

Нанна: А что, ты бы действительно не удержалась от смеха, если б услышала, как они возились, как во время этой возни ругался носильщик и как замечательно его ругательства сочетались с крепкими словечками дамы, которая оказалась из породы Сделай-Мне-Еще. Ну, а когда закончилась эта пропетая на разные голоса вечерняя служба, мы перешли в зал, где все было готово для разыгрывания комедии; занавес должен был уже открыться, но тут кто-то громко постучал в дверь — шум от разговоров был такой, что тихого стука никто бы не расслышал. Бросив занавес, пошли отворять и отворили дверь бакалавру. Потому что это, оказывается, именно бакалавр, проходя мимо, постучался, ничего не зная о моей измене; ну, а когда он поднялся наверх и увидел, как я любезничаю со студентом, то поддался тому ужасному чувству, которое, как удар молота по голове, лишает человека рассудка. С тою же яростью, с какой дворовый пес набросился на сучку (помнишь рассказ монаха?), он схватил меня за волосы и протащил через весь зал, а потом вниз по лестнице, не обращая внимания на мольбы, с которыми обращались к нему все, кроме моего студента: студент при появлении бакалавра бесследно исчез, как исчезают в небе огни фейерверка. Продолжая осыпать побоями, бакалавр привел меня в монастырь, созвал всех сестер, привязал меня за дом вверх к чьей-то спине и выпорол с тем же хлад-

нокровием, с каким делают это монахи, когда наказывают младшего по званию за то, что тот плюнул в церкви. Он так отстегал меня ремнем, что зад у меня распух на целую пядь, но больше всего огорчило меня то, что настоятельница приняла его сторону. Восемь дней я пролежала в постели, смазывая и промывая розовой водой больные места, а потом дала знать матери, что если она хочет видеть меня живой, пускай приезжает. Увидев, на кого я похожа, и приписав мою болезнь посту и раннему вставанию, мать решила тут же забрать меня с собой, и никакие уговоры сестер и монахинь не могли заставить меня задержаться здесь хотя бы на один день. Когда мы оказались дома, отец, который боялся матери, как не знаю чего, хотел было бежать за врачом, но по понятным причинам его не пустили. Я не могла скрыть раны на своем задѹ, по которому ремень прошелся так, как вечерами Страстной Недели мальчишки прохаживаются деревянными трещотками по церковным дверям и алтарным скамеечкам<sup>67</sup>, и мне пришлось сказать матери, что ягодицы стали нарывать после того, как я посидела на гребне с железными зубьями, которым дерут паклю. Мать только усмехнулась моей глупой выдумке, потому что было видно, что гребень оцарапал мне не только зад (не дай Бог, чтоб такое случилось с твоим!), но и сердце, однако сочла за лучшее промолчать.

Антония: Теперь я начинаю понимать, почему ты сомневаешься, думая, отдавать ли Пиппу в монастырь. Помню, моя мать, да будет благословенна ее память, рассказывала мне, что в одном монастыре жила сестра, которая каждый третий день притворялась больной, потому что хотела, чтобы врач сунул свой урыльник ей под юбку.

Нанна: Я знаю, о ком ты говоришь; я не стала о ней рассказывать, потому что у меня слишком мало времени. Ну а теперь, после того как я целый день развлекала тебя своей болтовней, я хочу, чтобы сегодня ты пошла ко мне.

Антония: Как тебе будет угодно.

Нанна: Кое в чем мне поможешь, а утром, после завтрака, в этом же винограднике, под этой же фигой, мы поговорим о жизни замужних женщин.

Антония: Пожалуйста, я к твоим услугам.

Сказано — сделано; оставив все свои пожитки в винограднике, они направились к дому Нанны, который был на улице Скрофа. Они пришли туда, когда уже стемнело, и Пиппа приняла Антонию с великим гостеприимством. Потом наступил час ужина, они поели и, посидев немного за столом, отправились спать.

---

## ВТОРОЙ ДЕНЬ АРЕТИНОВОЙ ЗАБАВЫ, В КОТОРЫЙ НАННА РАССКАЗЫВАЕТ АНТОНИИ О ЖИЗНИ ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН

Нанна и Антония поднялись в тот самый час, когда впавший в детство старый рогоносец Титон прятал от глаз Дня рубашку своей жены<sup>68</sup>, боясь, как бы этот сводник не передал ее Солнцу, ее сожителю; увидев это, она вырвала рубашку из рук старого безумца и, не обращая внимания на его воркотню, явилась перед всеми прекраснее, чем когда-либо, решив назло мужу отдаться возлюбленному двенадцать раз и засвидетельствовать этот факт у всеобщего нотариуса, который зовется Часами.

Быстро одевшись, Антония еще до утренних колоколов переделала все те мелкие дела, которые докучали Нанне, как докучают святому Петру заботы о строительстве его Храма<sup>69</sup>. Потом подружки хорошенько позавтракали и вернулись на виноградник, где уселись под той же самой фигой, под которой сидели накануне; солнце уже начинало припекать, и было самое время, спасаясь от жары, пустить в ход веер болтовни. Сложив на коленях руки, Антония взглянула на Нанну и сказала: «Вчера ночью я проснулась и долго не могла уснуть, все думала о безумных матерях и глупых отцах, которые полагают, что стоит их дочери стать монахиней, как у нее тут же пропадет аппетит. Что за несчастная жизнь у этих девочек! Неужто непонятно, что они тоже созданы из плоти и крови, а запреты лишь подогревают желания! Я, например, всегда умираю от жажды, когда дома нет вина. А потом, пословицы никогда не врут, и, если говорят, что «монахиня — монаху жена» или, еще того чище, «монахиня —

всякому жена», то, значит, так оно и есть. До вчерашнего дня, пока я не попросила тебя рассказать мне об их жизни, я об этом как-то не задумывалась.

Нанна: Значит, не напрасно я старалась.

Антония: Проснувшись, я до рассвета не могла найти себе места, как тот игрок, знаешь, который уронит карту или кость или у которого погаснет свеча: он не успокоится, пока не подымет упавшее и не зажжет свечу снова. Я рада побывать у тебя на винограднике, который благодаря твоей щедрости всегда для меня открыт, но еще больше я рада тому, что без стеснения тебя обо всем расспросила, а ты мне так любезно все объяснила. Ну а теперь — в добрый час. Так что же придумала твоя мать, после того как порка отвратила тебя от монастырской любви?

Нанна: Она оповестила всех о том, что выдает меня замуж, а объясняя причину моего отречения от монашеского сана, напридумывала столько небылиц, что многие остались в убеждении, будто нечистой силы в монастырях больше, чем в Парме фиалок! В конце концов слух обо мне дошел до ушей одного бездельника, из тех, знаешь, что живут, чтобы есть, и он вбил себе в голову, будто до смерти хочет на мне жениться. А так как деньги у него водились, мать (к тому времени она была мне и за отца, потому что отец по воле Божьей скончался) согласилась. И вот, короче говоря, наступила ночь, в которую должен был быть заключен наш плотский союз и которую мой бездельник А-Не-Подремать-Ли-Мне-У-Огонька ждал, как крестьянин ждет урожая. И тут дорогая моя матушка, которая прекрасно знала о беде, приключившейся с моею девственностью, придумала замечательную хитрость. Когда к свадьбе резали каплунов, она взяла немного крови и налила в яичную скорлупу; потом наказала мне как можно дольше ломаться и противиться и уложила в постель, предварительно испачкав кровью каллуна то самое устье, из которого впоследствии вылезла моя Пиппа. Я легла, лег и муж; но стоило ему потянуться меня обнять, как я, скорчившись, забила в дальний угол кровати, а когда он сделал попытку

коснуться моей цитры, я вообще свалилась с постели на пол. Он бросился меня поднимать, умоляюще при этом приговаривая: «Не надо бояться, я не сделаю вам ничего плохого». Однако слышу, на шум уже бежит мать, отворяет дверь и входит со свечой в комнату. Лаской и уговорами она помирила меня с моим славным пастырем, но когда тот снова попытался раздвинуть мне ноги, то, пролив семь потов, — ну прямо крестьянин на молотье! — добился только того, что изорвал на мне рубашку, после чего с проклятиями отступился. Даже привязанный к колонне одержимый, когда из него изгоняют бесов, не слышит столько заклинаний, сколько выслушала от него я, и в конце концов, проливая слезы, бранясь и причитая, я распахнула-таки перед ним футляр своей скрипки. Весь дрожа от возбуждения, он попытался засунуть мне тампон в рану, но я дернулась и сбросила с себя седока; однако он снова терпеливо взгромоздился в седло и сумел наконец воткнуть свой тампон так ловко, что он вошел. Лакомясь сладким блюдом, я совсем было позабылась, как свинья, когда ее почесывают, и закричала только тогда, когда зверек уже вылез из норки. Но зато закричала так, что на мои вопли сбежались к окнам соседи, а к нам снова пожаловала мать. Увидев, что простыня и рубаха новобрачного испачкана куриной кровью, она уговорила его на первый раз этим и удовольствоваться и увела меня спать к себе. Наутро все соседи дружно славили мою честность, и во всем квартале только об этом и говорили. Когда все свадебные церемонии закончились, я, подобно остальным, снова начала ходить в церковь и посещать праздники и, завязав знакомство с несколькими дамами, сделалась поверенной их тайн.

Антония: Ну-ка, ну-ка...

Нанна: Я сделалась своей в доме одной богатой и красивой горожанки, жены видного купца, молодого, пригожего, остроумного и настолько в нее влюбленного, что ночью ему снилось то, чего она потребует от него утром. Однажды я сидела у нее в комнате и случайно бросила взгляд на дверь, ведущую в чулан;

мне показалось, что в скважине что-то мелькнуло, быстро как молния.

Антония: Что же это было?

Нанна: Я присмотрелась внимательно и поняла, что за дверью кто-то есть.

Антония: Милое дело!

Нанна: Подруга между тем замечает мои взгляды, я замечаю, что она их замечает, и вот глядим мы друг на друга и я говорю: «А когда вернется ваш муж? Ведь он вчера уехал в деревню?» — «А Бог его знает, — отвечает она. — Будь моя воля, он бы никогда не вернулся». — «Почему?» — спрашиваю я, а она говорит: «Пусть отсохнет язык у того, кто будет об этом болтать, но мой муж совсем не такой, каким кажется, клянусь этим крестом» — и, сложив пальцы крестом, она их поцеловала. «Как это не такой? — говорю я. — Все женщины вам завидуют, чем вы недовольны? Расскажите, если не секрет». А она мне в ответ: «Значит, хочешь, чтобы я назвала все своими именами? Так вот, он просто тщеславный индюк, от которого только и проку, что он одевает меня по последней моде. Ну, а мне совсем не это нужно; как говорится у нас в Евангелии: „Не единым хлебом сыт человек“. Признав, что она кругом права, я говорю: «Что ж, я вижу, вы настоящий кладезь премудрости, раз понимаете, как коротка отпущенная нам жизнь». — «Для того чтобы ты окончательно в этом убедилась, — отвечает она, — сейчас я покажу тебе кладезь, откуда я черпаю свою премудрость». Она открывает дверь в чулан, и я, протянув руку, натыкаюсь там на мужчину, из тех, знаешь, что сплошные мышцы, а она — ты не поверишь! — прямо у меня на глазах ложится на него, так что крыша оказывается поверх трубы, и заставляет с одного удара забить два гвоздя, приговаривая при этом: «Лучше быть дурной женщиной, но счастливой, чем порядочной, но несчастной».

Антония: Эти бы слова да высечь золотыми буквами.

Нанна: Потом она позвала молоденькую служан-

ку, ведавшую ее удовольствиями, и приказала увести парня тем же путем, каким он пришел, предварительно одарив его цепочкой, которую сняла с шеи. Расцеловав ее в рот, в лоб и в обе щеки, я поспешила домой, чтобы проверить, чистое ли исподнее носит мой слуга. Дверь оказалась открытой, я послала горничную зачем-то наверх, а сама спустилась в первый этаж, где была его каморка. При этом я сделала вид, будто тороплюсь в отхожее место, так как мне срочно понадобилось отлить. Но куда я шла, до меня донесся вдруг тихий разговор, из которого стало ясно, что у слуги меня опередила мать. Я послала ей свои благословения, как посылала она мне свои проклятия, когда я притворялась, будто не хочу уступить мужу, и повернула назад. Подымаюсь я по лестнице, расстроенная тем, что узнала, и вдруг — на тебе — мой бездельник-муж. Пришлось удовольствоваться им; конечно, это было не то, чего хотелось, но уж как получилось.

Антония: Почему не то, чего хотелось?

Нанна: Да потому что любой мужчина всегда лучше, чем собственный муж. Заметь, как нравится всем обедать не дома, — это то же самое.

Антония: Это верно, перемена блюд возбуждает аппетит. Недаром есть пословица «Кто угодно — только не жена».

Нанна: Случилось мне как-то поехать в свое имение, где по соседству жила одна, ну скажем так, знатная дама, этого будет довольно. Она приводила в отчаяние своего мужа тем, что желала весь год жить в деревне. Когда он описывал ей прелести городского жителя и неудобства деревенского, она всегда отвечала: «Я равнодушна к роскоши; я не хочу вводить людей в грех, заставляя их мне завидовать: я не ценю общество и не люблю празднеств; я не хочу подвергаться опасностям; мне достаточно ходить к мессе по воскресеньям; я знаю, как мало идет денег здесь и как много приходится бросать на ветер в городе, который тебе так любезен и в котором ты можешь продолжать

жить, если хочешь, а если не хочешь, оставайся со мной». Благородный синьор, который, если б даже захотел, не мог не возвращаться в город, вынужден был оставлять ее одну иной раз даже на целых две недели.

Антония: Кажется, я догадываюсь, чего она добивалась.

Нанна: Она добивалась деревенского капеллана. Если б доходы этого капеллана были так же велики, как кропило, которым он разбрызгивал святую воду в саду знатной дамы (ты еще услышишь, как она заставила его это делать), он жил бы лучше любого монсиньора. О, эта палка, что внизу живота, была у него действительно громадная! И крепкая, очень крепкая! Зверь, а не палка!

Антония: Ах, язви его душу...

Нанна: Госпожа Хочу-Жить-В-Деревне увидела его однажды в тот момент, когда он мочился у нее под окном, не подозревая, что на него смотрят. Она сама мне об этом рассказала, откуда я все и знаю. Увидев его толстый белый хвост длиною в локоть, увенчанный колечком золотистых волос, с коралловой головкой, изящно прорезанной дырочкой, с веной, красиво змеящейся по спинке, хвост не задранный и не поджатый, а спокойный, как тяжелый фасольевый стручок, поместившийся меж двух живых шаров, круглых, подбренных, более прекрасных, чем те, что держит в своих лапах Орел на дверях Посла<sup>70</sup>, — одним словом, увидев этот драгоценный карбункул, дама поспешила коснуться рукою земли, чтобы не родить потом дитя, меченное родинкой такой же формы<sup>71</sup>.

Антония: А что, вот было б дело, если б она, забеременев от одного только его вида, дотронулась до носа и родила потом дочку, у которой на лице отпечатались бы эти шары!

Нанна: Ха-ха-ха! После того как она коснулась рукою земли, она вдруг так возжелала хвоста этого барана, что ей стало дурно и ее уложили в постель. Муж, удивленный странным припадком, поспешно вызвал из города врача, который пощупал у нее пульс и спросил, был ли стул.

Антония: Клянусь честью, кроме нижнего перегонного куба, — мол, как он работает, — их больше ничего не интересует.

Нанна: Это ты верно говоришь. Так вот, дама ответила врачу, что нет, не был, — и тот тут же назначил ей процедуру, от которой она отказалась. Слезы навернулись у мужа на глазах, когда он услышал, что она просит позвать священника. «Я хочу исповедаться, — сказала она. — Если Богу угодно, чтобы я умерла, мне угодно достойно принять свою участь; хотя оставлять тебя, муж мой, мне тяжело». При этих словах дурачок бросился ей на шею, плача так, будто его поколотили, а она поцеловала его и сказала: «Мужайся». Явился растерянный священник; в ту минуту, когда он входил, врач, следивший за состоянием дамы, держал руку на ее пульсе и очень удивился, заметив, как он оживился при появлении священника. Выступив вперед, священник сказал: «Бог пошлет Вам выздоровление». Она же, увидев, как приподнимается на месте гульфика его сутана, которую он носил подпоясанной, снова потеряла сознание и пришла в себя только тогда, когда ей смочили запястья розовым уксусом. Между тем ее муж, порядочный пентюх, приказал всем выйти из комнаты и вышел сам, притворив за собой дверь, чтобы никто не мог услышать слов исповеди; выйдя, он принялся обсуждать случившееся с врачом и услышал при этом множество всяких глупостей. И вот, покуда врач, которому бы только свиней холостить, беседовал со слизником мужем, священник сел подле дамы на кровать и, не желая ее беспокоить, перекрестил собственною рукой. Он уже собирался спросить, когда она последний раз исповедовалась, как она вдруг вцепилась в его мгновенно затвердевший шнурок и потянула исповедника на себя.

Антония: И хорошо сделала.

Нанна: И что ты думаешь! Всего два выстрела, и он полностью излечил ее от дурноты.

Антония: Я думаю, что всяческой похвалы заслуживает дама. Это тебе не чистоплюйка, которая кончит, а потом скажет: «Мы, кажется, вспотели?»

Нанна: Приняв исповедь, священник поднялся и сел, положив руку ей на голову; как раз в это время муж робко заглянул в дверь и, увидев, что грехи отпущены, подошел к постели. Заметив, как прояснилось у больной лицо, он сказал: «Все-таки нет лучше врача, чем служитель церкви, ей-Богу нет; ты совершенно оправилась, а ведь была минута, когда я думал, что тебя потеряю». Обернувшись к мужу, дама со вздохом сказала: «Да, мне лучше», — а потом сложила ладони и стала бормотать «Confiteor»<sup>72</sup>, делая вид, будто заканчивает исповедь. Отпуская священника, она сунула ему дукат и два юлия<sup>73</sup>. «Юлии, — сказала она, — это за исповедь, а дукат — за то, чтобы вы отслужили для меня мессу Сан Грегорио»<sup>74</sup>.

Антония: Хорошо, давай следующую историю.

Нанна: Послушай-ка вот эту, она будет похлеще, чем та, что со священником. Жила в наших краях одна почтенная сорокалетняя матрона, у нее было тут богатое имение. Она происходила из знатной семьи, а ее муж был знаменитым адвокатом: он творил настоящие чудеса своими писаниями, которые собирал в толстые книги. Так вот, эта матрона, о которой идет речь, носила всегда только темное и целый день не находила себе места, если не отстоит утром пять или шесть месс. В общем, го была ходячая Авемария, алтарная скамейка, церковная швабра. Постилась она по пятницам круглый год, а не только в марте, во время мессы подавала голос, словно священнослужитель, и подпевала во время вечерней службы. Говорили, что под платьем она носит вериги.

Антония: В общем, куда до нее святой Вердине.

Нанна: Ну, что касается умерщвления плоти, то она раз во сто превосходила эту святую: башмаки носила только деревянные, в канун праздника святого Франциска и в Ассизи, и в Верние<sup>75</sup> позволяла себе съесть только кусочек хлеба, запивая его глотком простой воды; молилась до полуночи, спала всего несколько часов; постелью ей служила охапка крапивы.

Антония: А спала без рубашки?

Нанна: Этого я не знаю. И вот надо же, чтобы так случилось, что неподалеку от нас поселился в своем ските кающийся отшельник. Почти каждый день он приходил в деревню, чтобы промыслить себе какое-нибудь пропитание, и никогда не уходил с пустыми руками. Всем внушало сострадание его худое лицо, всклокоченные волосы, борода до пояса, власяница, камень, который он носил в руке в подражание святому Франциску. Благочестивый праведник пришелся по душе и жене адвоката, который в то время был занят в городе множеством судебных дел. Она одаривала отшельника щедрой милостыней и часто посещала его благочестивый и уютный скит, откуда приносила домой разные горькие травы, отказывая себе в сладких.

Антония: А какой у него был скит?

Нанна: Скит стоял на склоне довольно крутой горы, которая носила имя Голгофы. На самом ее верху, в центре, высился огромный крест с тремя деревянными гвоздями, наводившими страх на окрестных крестьян. На вершину креста был надет терновый венец, с перекладины свисали два бича, сделанные из завязанной узлами веревки, а у подножья лежал череп. По одну сторону креста в землю была воткнута палка с губкой на конце, а по другую — заржавленное копьё с плоским наконечником. Под горой расстилался небольшой огородик, обсаженный розовыми кустами; входом в него служила сплетенная из ивовых прутьев калитка с деревянной щеколдой. И как бы вы ни старались, вам ни за что не удалось бы найти тут даже самого маленького камушка: так чисто содержал отшельник свой огород. На грядках, разделенных аккуратными дорожками, росло множество разных овощей: тут был латук, курчавый и крепкий, свежий, нежный синеголовник, чеснок, такой тугой, что не отколупнешь, замечательная капуста; нашлось местечко и для тимьяна, мяты, майорана, петрушки, а в самом центре подымалось высокое, тенистое миндальное дерево. Между грядок струились прозрачные ручейки, которые вытекали из источника, бившего из заросших

травой камней у подножья горы. Вот этот-то маленький рай и посещала, как я уже тебе говорила, госпожа адвокатша. И вот однажды, повинуясь велению плоти, которой надоело завидовать душе, они спрятались от палящего солнца в хижине и, сами не зная как, согрешили. И надо же, чтобы как раз в это время один крестьянин (из тех, знаешь, у кого язык хуже бритвы) искал неподалеку потерявшегося сына своей ослицы; случайно проходя мимо хижины, он заглянул внутрь и увидел там наших праведников, слепившихся на манер сучки с кобелем. Он вернулся в деревню и колокольным звоном собрал народ; побросав дела, сбежались почти все: и мужчины, и женщины, — причем женщин было не меньше, чем мужчин. Зайдя в церковь, они услышали, как крестьянин рассказывает священнику о чудесах, которые творит в своей хижине отшельник. Священник облачился в стихарь, накинул епитрахиль, взял молитвенник и, пустив впереди себя служку с распятием в руках, в сопровождении полусотни крестьян во мгновение ока добрался до хижины. Там он действительно увидел и Служителя Бога, и Служительницу Служителя, которые спали как убитые, причем отшельник храпел, так и не вытащив свой бич из зада благочестивой почитательницы Бечевы. В первую минуту толпа онемела: так немеет благородная дама при виде жеребца, взгромоздившегося на кобылу. Потом женщины отвернулись, а мужчины расхохотались так, что всполошились даже разбуженные сони. Священник же при виде тесно слившейся парочки вдруг грянул, как целый церковный хор: «Et incarnatus est»<sup>76</sup>.

Антония: Я думала, что превзойти в распутстве монахинь не может никто, но, оказывается, ошибалась. И что же, отшельник с праведницей, наверное, умерли прямо на месте?

Нанна: Ха! Скажешь тоже, умерли! Как только рашпиль выскользнул из отверстия, дама поднялась и, дважды обмотав вокруг талии скрученную виноградную лозу, которая служила ей поясом, сказала: «Синьоры, почитайте сначала Жития Святых, а уже потом

подвергайте меня испытанию огнем и всем прочим; ведь согрешило не тело, а вошедший в него дьявол, так что несправедливо подвергать мукам тело». Ну, что тебе еще сказать? Мошенник, который подался в отшельники с горя, а до того побывал и в солдатах, и в душегубах, и в сводниках, сумел заговорить зубы всем, кроме меня и священника: я-то хорошо знала, откуда растет хвост у дьявола, а священник склонен был прислушиваться к признаниям дамы. Все остальные поверили отшельнику, который, клянясь святой лозой, служившей ему поясом, объяснил, что отшельников вводят во искушение злые духи по имени Суккубы и Инкубы. Ну, а наша горе-святоша, пока отшельник нес всю эту ахинею, успела придумать новую хитрость: она начала вдруг корчиться, задыхаться, закатывать глаза, кричать и биться так, что страшно было смотреть. «Вот он, злой дух, вселившийся в тело несчастной!» — воскликнул отшельник. А когда местный староста приказал схватить грешницу, она стала кусаться, испуская ужасные крики. Понадобился десяток крестьян, чтобы ее связать; женщину привели в церковь и трижды прикоснулись к ее телу двумя косточками, принадлежавшими, по преданию, святым и хранившимся в медной раке для мощей, и лишь на третий раз она пришла в себя. Известие о случившемся дошло до адвоката: он перевез нашу праведницу в город и заказал в церкви службу.

Антония: Никогда не слышала более гнусной истории.

Нанна: Думаешь, гнуснее не бывает?

Антония: Неужели бывает?

Нанна: Еще как! Была, например, у меня соседка по имению, возле которой вилося столько вздыхателей, что она, будто совушка, едва успевала вертеть по сторонам головкой. По ночам у ее дома непрерывно раздавались серенады, а днем гарцевали на конях молодые люди. Когда она отправлялась к мессе, на улицу высыпало столько народу, что невозможно было пройти. Одни говорили: «Блажен муж, которому принадлежит этот ангел». Другие восклицали: «Запечатлеть

один поцелуй на этой груди — и умереть!» Третьи собирали землю, по которой она ступала, и вместо пудры сыпали ее в свою шляпу. Были и такие, что просто смотрели на нее без всяких слов и вздыхали. Кто только не забрасывал удочку в воды этого прекрасного, всеми восхваляемого озера, но взволновалось оно при виде обыкновенного учителя, из тех немых, что ходят по домам давать уроки: невзрачного, неряшливого, оборванного. Ходил он всегда в фиолетовом кафтане, таком засаленном у шеи, что вошь просто не могла бы за него зацепиться; к тому же кафтан был весь в жирных пятнах, как фартук монастырского поваренка; под кафтаном он носил камлотовый камзол, такой потертый, что казалось, он сшит из чего угодно, только не из камлота, да и цвет невозможно было разобрать. Поясом ему служили две связанные вместе черные шелковые ленты, а так как у камзола не было рукавов, то под него он надевал еще колет с рукавами, сшитый из самого дешевого шелка; колет был весь в дырах, подкладка у него торчала наружу, а края воротничка так затвердели от пота, что казались костяными. Штаны смело могли соперничать с кафтаном: когда-то они были цвета сухой розы, который сейчас невозможно было узнать; держались они на шнурках, крепившихся к колету и сидевших на владельце примерно так, как сидят штаны на каторжнике. Забавно было смотреть на то, как при каждом шаге учитель поправлял у башмака задник, который все время сминаясь. Дома он носил туфли, которые выкроил из сапог своего прадедушки; кожа в них настолько истерлась, что большие пальцы то и дело норозили вылезти наружу и, наверное, вылезли бы, если б теленок, из которого были сделаны сапоги, этому не воспротивился! Берет с одной складкой он заламывал назад, а круглая тафтяная шапочка, что надевается под берет, неподшитая, с тремя прорезами, подбитая грязью с его головы, походила на ермолку, под которой иные прячут паршу. Единственное, что было в нем хорошего, — так это любезная мина на лице, которое он брил дважды в неделю.

Антония: Не трудись описывать дальше; я и так его вижу, просто чудовище какое-то.

Нанна: Действительно, чудовище. И тем не менее эта красивая молодая женщина воспылала любовью именно к нему (мы, женщины, вообще мастера выбирать что похуже!) и, не имея возможности обратиться прямо к нему, однажды ночью завела с мужем разговор, начав издалека. «Благодарение Богу, — сказала она, — мы очень богаты, но ни детей, ни надежды когда-нибудь их иметь у нас нету. Вот я и подумала — а не сделать ли нам доброе дело?» — «Какое доброе дело ты имеешь в виду?» — спрашивает муж, а она ему отвечает: «Я имею в виду твою сестру: у нее на шее столько сыновей и дочерей, мне хотелось бы взять на воспитание младшего. Мало того, что нам самим будет это приятно, кому же еще и делать добро, как не своим близким?» Муж поблагодарил жену, похвалил ее и сказал: «Я и сам собирался об этом заговорить, да боялся, что тебе не понравится. Но теперь я знаю, что ты не против, и завтра же, как только встану, пойду обрадую несчастную сестру и приведу мальчика сюда, в твой дом, потому что все здесь — твое приданое». — «Дом не только мой, но и твой», — ответила жена. Наступило утро, и Сам-Себе-Схлопочу-Рога отправился к сестре. К большому ее удовольствию, он забрал у нее племянника и привел к жене, которая очень обрадовалась мальчику. Прошло два дня, и, сидя с мужем за столом после ужина, она завела такой разговор. «Я, — сказала она, — хотела бы дать образование маленькому Луиджи (так звали племянника)». — «А у тебя есть кто-нибудь на примете?» — спросил муж. А она ему отвечает: «Есть тут один учитель. Судя по тому, что я все время вижу его на улице, он ищет место». — «Какой же это учитель? — говорит муж. — Уж не тот ли оборванец, который ходит к мессе в...» Тут он хотел уже назвать церковь, но жена его перебила: «Да-да, этот самый. Не помню точно, но кто-то мне говорил, что он кладезь знаний, ну прямо что твой календарь...» — «Ладно», — сказал супруг, отправился на поиски и в тот же вечер привел

петуха в курятник. А тот наутро сходил за мешком, в котором держал две рубахи, четыре носовых платка и три толстых книги в твердых переплетах, и, вернувшись, устроился в комнате, которую указала ему хозяйка.

Антония: Ну и что дальше?

Нанна: А вот послушай. На следующий вечер госпожа взяла за руку племянника, которому предстояло сыграть роль сводника и для этого начать зубрить псалтырь, и велела позвать учителя. И вот слышу я (я у нее в тот вечер ужинала), как она ему говорит: «Маэстро, ваше дело — как можно лучше учить этого мальчика, который мне больше, чем сын (тут она чмокнула ребенка в губы), а уж о плате я позабочусь». Учитель в ответ начал плести что-то на латыни, приводить, загибая пальцы, какие-то доводы, покуда вконец не запутался и сам уже не знал, как закончить. «Да он настоящий Цицетрон!» — сказала, оборотившись ко мне, синьора и перевела разговор с «*cuiussi*»<sup>77</sup> на другие темы. «А скажите, маэстро, — спросила она, — были вы когда-нибудь влюблены?» В ответ этот дурень, счастливый обладатель хвоста, который, конечно, не был так красив, как у павлина, но не в пример тому крепок, воскликнул: «Госпожа, именно любовь научила меня всему, что я знаю» — и стал одну за другой извлекать на свет все приключившиеся с ним истории. Одна, видите ли, из-за него повесилась, другая отравилась, третья бросилась с башни — в общем, он рассказал нам о множестве женщин, которые из любви к нему отправились *a porta inferi*<sup>78</sup>, излагая все это в прежнем, темном и цветистом, стиле. Слушая его занудное бормотание, подруга несколько раз ткнула меня локтем в бок, а потом спросила: «Ну, что ты скажешь о мессире?» И я, с ясностью читавшая в ее душе и сердце, ответила: «Думаю, что он прямо-таки создан для того, чтобы трясти груши и оббивать яблоны». — «Ха-ха-ха», — засмеялась она в ответ и бросилась мне на шею. А потом, сказав: «Ну что ж, маэстро, идите на урок», — увела меня в свою комнату. Там она узнала, что муж не вернется сегодня ни к ужину, ни на

ночь (такое случалось часто). Она очень обрадовалась и сказала мне: «Ничего с твоим бурундуком не делается, оставайся нынче у меня». Слуга пошел предупредить мою мать и вернулся с ее согласием. Потом мы славно поужинали: отведали потрошков, паштетов, куриных ножек, салата из перченой петрушки, съели почти целиком холодного индюка, полакомились оливками, молодым козьим сыром, розовыми яблоками, вареньем из айвы — для пищеварения — и конфетами, делающими дыхание благоуханным. Послали ужин и учителю в его комнату: ужин состоял из яиц, сырых и сваренных вкрутую, а почему вкрутую, догадайся сама.

Антония: Да уж догадалась.

Нанна: Поужинав и приказав убрать со стола, синьора отослала спать всех, включая племянника, и сказала: «Мужья наши целый год лакомятся всеми сладостями, какие только подвернутся им под руку, так почему бы и нам, хотя бы сегодня ночью, не полакомиться учителем? Судя по его носу, сласти у него такие, что сделали бы честь и императору. К тому же никто ничего не узнает: он такой некрасивый и такой смешной, что если даже кто кому расскажет, ему не поверят». Я в ответ начинаю мяться, делаю вид, что робею, не знаю, что сказать, а потом говорю: «Такие вещи очень опасны. А что если вернется твой муж, что тогда?» А она отвечает: «Нашла о чем думать! По-твоему я такая дура, что не смогу заговорить зубы этому идиоту, даже если он вернется?» — «Ну, раз так, решай сама», — говорю я. А между тем учитель, который представлял собою для мужа такую же опасность, как два туза, когда они сходятся в руках одного игрока, заметил, как разлакомилась синьора, слушая рассказы о его любовных похождениях. А когда ему стало известно, что хозяин не будет ночевать дома, он исхитрился подслушать наш разговор и узнал, что не в пример тем дурочкам, которые из-за него вешались, хозяйка решила просто под него лечь, хотя меня, например, тошнило от одного вида его кожаного гильфика, сбившегося набок: старого, заплесневелого, каких сей-

час уже никто не носит. Дослушав все до конца, он самоуверенно, как и подобает учителю, отдернул портьеру и вошел в комнату. Хозяйка, отославшая к тому времени из дому всех до последней служанки, увидев его, сразу же сказала: «Маэстро, руки и рот держите подальше, нынче ночью нам нужен только ваш молоток». Но этот скот и не собирался ее целовать и щупать: не тот у него был нос, чтобы внюхиваться в чашечку розы, не те пальцы, чтобы перебирать дырочки флейты. Он просто вытащил наружу свой инструмент, толстый, как ножка табурета, весь в бородавках, с красной дымящейся головкой, и, шлепнув по нему ладонью, сказал: «К вашим услугам, синьора». Дама забрала его в кулачок и, промолвив: «Ах ты, мой воробышек, мой голубок, мой зяблик, войди же в свое гнездышко, в свой домик, в свои владения», — засунула его себе внутрь. Потом приподняла ногу, прислонилась к стене, решив есть сосиску стоя, и грязный мужик нанес ей первый мощный удар. Я же в этот момент вела себя как мартышка, которая начинает жевать еще до того, как кусок оказался у нее во рту. И если бы не пощекотала себя металлическим пестиком, который нашла на комодe (судя по запаху, им толкли корицу), наверное бы, просто умерла от зависти при виде их наслаждения. Когда конек закончил свою работу, синьора, утомившаяся, но не насытившаяся, села на кровать и так крутанула учителю хвост, что он снова задрался. Брезгуя смотреть ему в лицо, она повернулась к нему спиной и, с яростью схватив *salvum me fac*<sup>79</sup>, воткнула его себе в очко, потом вытащила и засунула в щель, потом снова в очко и на этом закончила вторую партию, сказав мне: «Тебе тут тоже осталось». Едва живая, как голодный, которому не дают есть, я уже собиралась сунуть учителю палец в одно местечко, чтобы снова его взбодрить (этому приему научил меня бакалавр), — как вдруг мы услышали стук в дверь. Стук был такой уверенный, что можно было не сомневаться: за дверью если не сумасшедший, то кто-то из домашних. Услышав стук, наш умник изменился в лице: так выглядит человек, которого все

считали порядочным и вдруг застали за взламыванием ризницы. Мы обе тоже замерли с окаменевшими лицами. Когда постучали второй раз, хозяйка поняла, что это муж, и начала громко смеяться и смеялась до тех пор, пока он не услышал. Убедившись, что ее услышали, она спросила: «Кто там?» -- «Это я», — говорит он. «А, дорогой муженек, — отвечает она. — Подожди, я сейчас спущусь». Бросив: «Все остаются на местах», — она спустилась вниз, чтобы открыть мужу, и, открыв, сказала: «Мне словно кто-то шепнул: „Не ложись, он наверняка вернется ночевать!“ Для того чтоб не заснуть, я пригласила соседку. Но она так расстроила меня рассказами о том, что пришлось пережить ей, бедняжке, в монастыре, что мне, наверное, сделалось бы дурно, если б не учитель, большой весельчак, который сумел рассмешить нас своими шутками». Она привела своего Credo-In-Deum<sup>50</sup> к нам наверх, и тот, ничего не заподозрив, расхохотался при виде учителя, который в растерянности от этого неожиданного появления выглядел так, будто с луны свалился. Я еще и раньше заметила, что муж подружки не прочь завладеть моим маленьким виноградником, а тут он попытался ускорить дело и для этого прицепился к гостю, чтоб жена думала, что его интересует тут только учитель. Он попросил его прочесть азбуку от конца к началу, и тот прочел, да так замечательно, что муж прямо-таки повалился с ног от хохота. Но я-то видела, как он при этом на меня поглядывал, и понимала, почему он украдкой наступает мне на ногу, и поэтому сказала: «Служанки, наверное, уже легли. Пойду-ка и я к ним». — «Что вы, как можно! — воскликнул мой вздыхатель и, оборотившись к жене, сказал: — Отведи ее в туалетную, пускай спит там». Так и сделали. Когда я легла, он, стараясь говорить так, чтобы мне было слышно и я все поняла, сказал: «К сожалению, дорогая женушка, мне придется вернуться туда, откуда я пришел. отошли спать этого весельчака и ложись сама». Она ушам своим не поверила от счастья и принялась разбирать вещи в комод, всем своим видом давая понять, что собирается зани-

маться этим до утра, до возвращения мужа. Он же, громко топая, спустился по лестнице, отворил дверь и, не выходя, захлопнул ее снова, чтобы показалось, будто он ушел. А потом на цыпочках пробрался в комнату, где лежала я, и осторожно улегся рядом. Почувствовав у себя на груди его руку, я сделала вид, будто я в бреду. Так ведет себя человек, который, заснув на спине, мучается от ощущения придавившей его тяжести, из-за которой он не может ни вздохнуть, ни пошевелиться.

Антония: Это называется «кошмар».

Нанна: Вот-вот. «Тише, тише, — говорит он мне. — Все в порядке», — и с этими словами ласково гладит меня по щеке. Ну, а я все себе продолжаю: «Ой, что это? Ой, кто это?» — «Да я это, я», — ответил невидимый в темноте призрак и попытался раздвинуть мне ноги, но я сжала их плотнее, чем скупец сжимает ладонь. «Госпожа, госпожа!» — пробормотала я, думая, что говорю тихо, но подруга услышала, и мужу пришлось оставить свои попытки. Он скатился с постели и выбежал в зал как раз в ту минуту, когда она ворвалась ко мне со свечой в руке, желая узнать, что случилось. Ну, а муж, войдя в спальню, из которой она только что вышла, увидел там нашего буйвола. Тот лежал в постели и, поглаживая свой инструмент, дожидался минуты, когда снова сможет пустить его в дело. Мастерница-Наставлять-Рога едва успела спросить меня: «Что случилось?» — как раздался вопль, который заглушил мой ответ, вопль, больше похожий на ослиный рев, чем на человеческий голос. Это разъяренный муж жестоко колотил учителя кочергой, и дело бы кончилось совсем плохо, если б не подоспела жена и не вырвала кочергу у него из рук.

Антония: Он был вправе вообще его убить.

Нанна: Может быть, вправе, а может быть, и не вправе.

Антония: Как это?

Нанна: погоди, я же еще не кончила. Увидев, что из разбитого носа этого чучела течет кровь, жена обер-

нулась к мужу, который, вполне понятно, не смог себя сдержатъ, застав негодяя там, где он его застал, и, уперев руки в бока и грозно покачивая головой, зарорала: «Что ты себе позволяешь, а? За кого ты меня принимаешь, а? Права была моя кормилица, она говорила мне, что ты будешь вести себя так, словно это ты подобрал меня в грязи, а не я тебя. Сбылось ее пророчество, она же все время твердила: „Не выходи за него, не выходи, он будет дурно с тобой обращаться“. И что же получается? Эту скотину, этот говорящий кусок мяса ты считаешь ровней мне? Ну за что ты его избил, скажи, за что? Что он тебе сделал? Наша постель — это что, святой алтарь, на который этот идиот должен молиться? Разве ты не знаешь этих людей? Стоит оторвать их от книжки, и они уже не соображают, на каком они свете. Ладно, мне все ясно, желаешь, чтобы было так, — будет так. Завтра же утром нотариус перепишет мое завещание, и злодей, который безо всякой причины обращается со своей женой, как с гулящей девкой, уже не сможет пользоваться ее состоянием». Потом она зарыдала и стала причитать: «О, я несчастная! Неужто я все это заслужила?» При этом она еще рвала на себе волосы, так что впору было подумать, что у нее на глазах только что убили ее отца. Я, быстро одевшись, сразу же прибежала на шум и сказала: «Ну-ну, не надо; пожалуйста, не надо плакать, соседи услышат».

Антония: А что ответил жене Молодец-Против-Овец?

Нанна: Услышав угрозу насчет завещания, он просто онемел. Уж он-то знал, что нынче оказаться без состояния — это еще хуже, чем быть придворным без покровительства, содержания и дохода.

Антония: Золотые слова.

Нанна: Ну, а я не могла удержаться от смеха при виде несчастного в одной рубахе, который, весь дрожа, забился в угол.

Антония: Наверное, точь-в-точь как лиса, которая попала в силки и видит, как со всех сторон на нее надвигаются палки.

Нанна: Ха-ха-ха! Именно так. В конце концов муж решил, что не стоит выбрасывать подстилку только потому, что от нее разок отщипнул какой-то осел: а уж тем более не стоит отказываться от вечнозеленого пастбища. Он бросился перед женой на колени и так юлил, так ее уговаривал, что она его простила. Мне же оставалось только пожалеть о том, что я вздумала изображать из себя Ах-Не-Тронь-Меня. Получив еще несколько ударов кочергой, учитель отправился к себе, парочка, помирившись, легла в постель, и я тоже пошла спать. Ко времени, когда я встала, явилась моя мать и отвела меня домой, где я привела себя в порядок, но все равно весь день ходила как сонная муха из-за выпавшей мне тяжелой ночи.

Антония: А учителя выгнали?

Нанна: Выгнали? Как бы не так! Когда я его встретила через неделю, он был одет как благородный синьор.

Антония: Когда кто-нибудь из подобных типов — слуга, поденщик или управляющий — вдруг начинает без удержу играть в карты, или франтить, или вообще сорить деньгами, — это верный знак, что он приспособился клевать хозяйку.

Нанна: Совершенно верно. А сейчас я хочу рассказать о женщине, которая спала и видела, чтобы в ее кудель сунул веретено один крестьянин, потому что шла молва, будто шишка у него такого же размера, как у быка или осла. Женщина была женою старика, произведенного папой Янни<sup>81</sup> в рыцари Золотой Шпory и кичившегося своим рыцарством, как это умеет делать только Манольдо Мантуанский. Смешно было смотреть, как он важничает, пыжится и чванится; по всякому поводу он говорил: «Мы, рыцари...», а когда по праздникам он появлялся в церкви в своих парадных одеждах, невозможно было пройти, ни для кого больше не оставалось места. Ни о чем другом, кроме как о Великом Турке, о Султане, он не желал разговаривать; что бы ни произошло за тридцать земель, обо всем ему было известно. Так вот, жена этого за-

нуды завела обыкновение ворчать по поводу всего, что присылали ей из имения. Если это были цыплята, она говорила: «И это все? Хорошо же они воруют!» Если фрукты: «Милое дело! Спелые они съели, а зеленые прислали нам». Если пучок салата, гнездо с птенцами, букетик земляники или еще какой-нибудь изящный пу-стячок: «Меня не надуешь! Заберите обратно! Что, я не знаю, мне же потом придется расплачиваться, ко-гда я недосчитаюсь пшеницы, вина и оливкового мас-ла». И оттого, что она без конца ворчала, муж тоже засомневался в своем управляющем и решил его пере-менить. По ее же совету он взял на это место того са-мого крестьянина, у которого был ерш, способный прочистить самый широкий дымоход. Подписав все бумаги, крестьянин отправился в поместье и на другой день вернулся в город, нагруженный припасами. По-стучав в дверь ногой, — она сразу же перед ним отво-рилась — крестьянин поднялся по лестнице, неся на плече палку, на которой сзади болтались три пары уток, а спереди три пары каплунов; в правой руке он еще тащил корзину с сотней яиц и несколькими голов-ками сыра. В общем, он был похож на тех венециан-ских хозяек, которые на одном плече несут одно коро-мысло (они называют его «биголо») с двумя ведрами воды спереди и сзади, а на другом — другое. Он по-здоровался, поклонился, шаркнув ногой, и преподнес все это хозяйке. Ну, а она, которая праздничному ка-лендарю Всех Святых предпочитала календарь самый простой, оказала ему прием, которого удостоивается не всякий рыцарь. Она приказала подать на кухонный стол закуску, которая стоила обеда и ужина вместе взятых, заставила его выпить большой бокал белого полусладкого вина и, когда ей показалось, что он до-статочно разгорячился, сказала: «Всякий раз, когда придете к нам с подарками, вас будет ждать такое же угощение». Мужа не было дома, она кликнула служан-ку («Эй, ты что, не слышишь?»), и та, явившись на зов, принялась разбирать корзинку. Когда корзина опустела, хозяйка отдала ее управляющему и прика-зала служанке отнести уток туда, где у нее содержа-

лись другие утки. Но когда служанка собралась и каплунов отнести к каплунам, она сказала: «Не надо, пожди здесь». Нагрузив каплунами крестьянина, она приказала ему следовать за нею на чердак. Там она развязала каплунам лапки (от боли они еще целый час не могли шевельнуться), закрыла чердачное окошко и пожелала убедиться, достойно ли своей славы орудие, которым крестьянину предстояло обработать ее поле. Служанка потом клятвенно меня уверяла, будто наверху все ходило ходуном и она боялась, что потолок обрушится ей на голову. Предполагалось, что хозяйка беседует с управляющим о том, как плохо его предшественник ухаживал за персиковыми и оливковыми деревьями; за время этой беседы он успел привить ее дважды, после чего они спустились вниз. Так как городские ворота должны были вот-вот закрыться, крестьянин не стал дожидаться хозяина. Попрощавшись с госпожой, он очень довольный вернулся в деревню и едва удержался, чтобы не рассказать всем о своем приключении. А между тем дама, потрясенная размерами кладки, которая едва уместилась в ее просторном таможенном зале, услышала вдруг с улицы шум и, подойдя к окну, увидела людей, которые бежали кто куда и кричали: «Запирайтесь! Закрывайте двери!» Выйдя на балкон, она увидела среди толпы своих родственников: одни яростно обнажали шпаги, закинув за спину плащи, другие, без шляп, потрясали дротиками, алебардами и копьями. Через некоторое время она, побледневшая и растерянная, увидела, как два человека, за которыми шла огромная толпа, на руках внесли в ее дом окровавленного рыцаря. Она упала без чувств, а беднягу отнесли наверх и положили в постель. Спешно послали за врачом, и, пока в доме доставали яйца и рвали на повязки мужские рубахи, она пришла в себя и поспешила к мужу, который только смотрел на нее посреди всей этой суматохи и ничего не говорил. Увидев, что он отходит, она перекрестила его освященными свечами и сказала: «Простите меня и отдайтесь в руки Господа», — и он, сделав знак, что прощает ее и готов отдаться в руки Гос-

пода, испустил дух. Врач и священник пришли, когда все уже было кончено.

Антония: А из-за чего он погиб?

Нанна: Из-за того, что эта негодяйка наняла за хорошую плату одного типа и тот отправил несчастного к праотцам, нанеся ему три раны. По этому поводу в городе было много шума; ну а она, два раза сделав вид, что собирается выброситься из окна, но оба раза дав себя удержать, устроила мужу такие пышные похороны, каких у нас еще никто не видывал. Стены церкви были изукрашены щитами, принадлежавшими покойному; его тело, накрытое роскошным парчовым знаменем, внесли в церковь шесть горожан в сопровождении жителей всех его поместных земель; вдова же, вся в черном, в окружении двухсот женщин, так плакала, так жалобно причитала, что у всех на глазах появились слезы. С амвона произнесли надгробное слово, в котором были поименованы все добродетели и все подвиги усопшего рыцаря; чуть ли не тысяча священников и монахов всех орденов пропели «Requiem aeternam»<sup>82</sup>, тело поместили в богато изукрашенный саркофаг, и все могли прочесть высеченную на нем эпитафию; на крышке саркофага закрепили знамена, шпагу в ножнах из шитого золотом и серебром красного бархата, щит и шлем с подкладкой из такого же бархата. Да, я еще не сказала, что пришли и его крестьяне, все как один в черных беретах, которые им дали для этого случая. Они провожали тело, и в их числе был тот счастливчик, который принес даме каплунов, уток и яйца. Да что говорить! С его помощью вдова очень быстро осушила слезы, тем более что она была теперь хозяйкой всего добра: покойный, женившийся на ней по любви и знавший, что у него никогда не будет ни сына, ни дочери, к большому огорчению родни, оставил ей все свое состояние.

Антония: Да, хорошо же он им распорядился!

Нанна: Теперь дама могла наезжать в свое имение, никого не боясь; отослав всех из дома, она принимала только преемника рыцаря, который так уте-

шал ее посредством своего слоновьего бивня, что в конце концов она отбросила всякий стыд и решила взять его в мужья, не дожидаясь, куда родственники навяжут ей кого-то другого. Распустив слух, что собирается уйти в монастырь, как только решит, какой орден выбрать, она вдруг объявила, что решила выйти за крестьянина. Она не желала больше думать о том, «что скажут» и «какой будет позор для семьи». Решив, что соблюдение приличий портит всякое удовольствие, что медлить — это значит отказываться от удовольствия, что раскаиваться — это все равно что умирать заживо, она послала за нотариусом и настояла-таки на том, чего ей так хотелось.

Антония: Но ведь она, и оставаясь вдовой, могла доставлять себе все эти удовольствия.

Нанна: Почему она не осталась вдовой, я расскажу тебе в другой раз; жизнь вдов заслуживает отдельной главы. Пока же скажу только вот что: вдовы в тыщу раз распутнее всех монахинь, мужних жен и девок вместе взятых.

Антония: Почему?

Нанна: Монахини, мужние жены и девки порою дают себя полировать и собакам, и свиньям; но зато эти расчесывают себя богослужениями, умерщвлениями плоти, обетами, мессами, вечернями, подаяниями, делами милосердия.

Антония: Неужели среди монахинь, мужних жен, девок и вдов не бывает хороших женщин?

Нанна: Да, если посмотреть на эти четыре разряда, то дело обстоит в них именно так, как утверждает известная пословица: «Веры, денег и ума всегда оказывается меньше, чем нужно».

Антония: Ну, Бог с ними, вернемся лучше к свадьбе рыцарской вдовы.

Нанна: Так вот, она вышла за него замуж, но когда об этом узнали, возмутилась не только ее родня, но и вся округа. А она так к нему привязалась, что даже носила ему еду в поле и на виноградник. Ну, а когда крестьянин, у которого было множество род-

ни, ранил ее брата, грозившегося ее отравить, охотников совать нос в ее дела сильно поубавилось.

Антония: Связываться с крестьянами — опасное дело.

Нанна: Да, недаром пословица говорит: «Не дай Бог попасть мужику в лапы». Но оставим в стороне печали и подсластим горечь этой истории рассказом про одного старого богача, жалкого скупердяя, который взял в жены шестнадцатилетнюю, с тонюсенькой талией (я никогда в жизни подобной не видывала) и такую грациозную, такую очаровательную, что каждое слово ее, каждое движение было исполнено прелести. Ее барственность, ее аристократическая горделивость, изящество ее повадки — от всего этого можно было просто сойти с ума. Стоило ей взять в руки лютню — перед вами была музыкантша, книгу — поэтесса, шпагу — и я бы поклялась, что это капитан в юбке. Взглянешь на нее, когда она танцует, — ну прямо козочка, услышишь, как поет, — ангел небесный, увидишь за игрой — просто не знаю, что и сказать. Ей довольно было бросить на кого-нибудь свой страстный и загадочный взгляд, как несчастный лишался покоя. Кусок, который она подносила ко рту, казался вам золотым самородком, вино становилось вином в ту минуту, когда она пригубливала бокал. Остроумная, свободная в обращении, она умела говорить о серьезных вещах с таким достоинством, что даже герцогини рядом с нею казались простушками. Она с большой тщательностью выбирала себе модные уборы, показываясь то в шапочке, то без шапочки, с волосами, частично распущенными, частично заплетенными в косу, причем на лоб выбивался локон, который падал ей на один глаз, мешая смотреть. И все это заставляло мужчин умирать от любви, а женщин — от ревности. Она обладала врожденным умением посредством разных хитрых уловок превращать своих поклонников в рабов. Так как они не могли без волнения смотреть на ее вздымающуюся грудь, словно бы окропленную росой с лепестков алых роз, она нарочно то и дело до нее дотрагивалась, как будто поправляя что-то в своем туалете,

и сияние колец вкупе с сиянием глаз буквально ослепляло того, кто внимательно следил за искусными маневрами ее руки. Ступая, она едва касалась земли, хотя и не забывала при этом стрелять по сторонам глазами; а когда ей окропляли голову святою водой, она приседала в таком реверансе, что невольно думалось: «Вот как это делают в Раю». И при всей этой красоте, при всем уме, при всем изяществе ей пришлось послушаться своего упрямого как бык отца, пожелавшего выдать ее за шестидесятилетнего, а точнее, это он сам, муж, говорил, что ему шестьдесят, видимо, опасаясь, что дадут больше. Муж красавицы утверждал, что он граф, поскольку был владельцем некоего строения, возвышавшегося на вершине горы в окружении зубчатых стен, а также двух пекарен и великого множества пергаментов с печатями, дарованных ему, по его словам, самим императором. Каждый месяц он предоставлял молодцам, которым нравится, когда им дырявят шкуру, возможность сразиться с ним на турнире. И все это ради того, чтобы увидеть, как перед ним снимут шляпы зрители, пришедшие поглазеть на поединок двух безумцев. На турнире он появлялся во всем параде: в фиолетовом, усеянном золотыми блестками мундире из рытого бархата, совсем не вытертого, потому что такой бархат никогда не вытирается, в шляпе с плоской тульей, в розовом на зеленой подкладке плаще с капюшоном из серебряной парчи, вроде тех, которые любят носить студенты; на боку болтался острый кинжал с латунной рукоятью, заключенный в старинные ножны. Сопровождаемый двумя десятками оборванцев с пиками и арбалетами (частью то были его слуги, частью вызванные из деревни крестьяне), он дважды обегал по кругу место ристалища и взгромождался на толстую, как мешок с овсом, лошадь, которая была явно не способна пуститься вскачь, сколько бы ее ни пришпоривали. Дождавшись момента, когда во всеуслышание называли его имя, он прямо-таки сиял от счастья. В день поединка он имел обыкновение запирать жену дома, а в остальное время вел себя как настоящая собака на сене: таскался за

нею следом, когда она шла в церковь или к кому-нибудь в гости. В постели он рассказывал ей о подвигах, которые совершил на войне, а дойдя до битвы, в которой его взяли в плен, начинал скакать по кровати и подражать разрывам бомбард: «Бум-бум-бум!» Бедняжка, мечтавшая о том, чтобы ее поразила наконец ночная пика, просто приходила в отчаяние. Иногда ее брала такая досада, что она сгоняла мужа с постели, приказывала ему встать на четвереньки, продевала ему в рот ремень на манер узды, усаживалась верхом и, колотя по бокам пятками, пускала его вскачь, как он свою лошадь. В конце концов, наскучив такую жизнью, она пораскинула головой и кое-что придумала.

Антония: Что же, интересно?

Нанна: Она стала во сне произносить какие-то бессвязные речи, что поначалу старика очень сместило, но когда она еще и начала пускать в ход кулаки и посадила ему однажды в глаз так, что пришлось прикладывать примочку из розового масла, — он не на шутку рассердился. Она же, притворяясь, будто не помнит, что делает и говорит по ночам, стала, вдобавок ко всему, еще и вставать с кровати, открывать окна и сундуки, а иной раз даже одевалась, в то время как старый дурень только бегал вокруг, тормозил ее и окликал по имени. И вот однажды случилось так, что, побежав за женой, когда та вышла из комнаты, муж, думая, что стоит на ровном полу, ступил на лестницу и свалился вниз. Мало того, что он весь побился, он еще и ногу сломал; слуги, сбежавшиеся на крик, которым он перебудил всех соседей, подняли беднягу и перенесли обратно в постель, из которой ему лучше было и не вылезать. Жена притворилась, будто только что проснулась, разбуженная его криками. Узнав о случившемся, она заплакала, стала всячески себя корить за то, что муж поднялся с постели из-за нее, и сразу же послала за врачом; тот приехал и вправил бедняге кости.

Антония: Так зачем же она притворялась спящей?

Нанна: Затем, чтоб он упал. И он в самом деле упал и, разбившись, уже не мог всюду ходить за нею следом. Глупый ревнивец, он был гол как сокол, но при этом так спесив, что, скрепя сердце, держал в доме десяток слуг, старшему из которых было двадцать четыре года и которые все спали в одной комнате на первом этаже. Питались они в основном хлебом да воздухом, и если у кого из них был хороший берет, то штаны — непременно рваные, если хорошие штаны — то плохой колет, если хороший колет — никуда не годился плащ, и так далее.

Антония: А почему в таком случае эти мошенники не уходили от своего хозяина?

Нанна: Да потому что у него они ничего не делали. Так вот, дорогая Антония, наша дама давно уже заприметила всю эту компанию, а когда муж слег в постель с ногой, зажатой между двумя шинами, однажды ночью поднялась, как всегда, будто бы во сне, и, хотя старик кричал «Эй! Эй!», протягивая к ней руки, предоставила ему кричать до посинения, а сама направилась напрямик к слугам, которые, сидя вокруг тлеющего огарка, играли в карты на деньги, что они украли у своего господина, когда делали для него покупки. Промолвив «Спокойной ночи», она задула свечку и, притянув к себе первого попавшегося, начала с ним забавляться; она провела за этим занятием три часа, перепробовав всех десятерых, каждого по два раза. Сбросив дурную кровь, которая столько времени туманила ей разум, она вернулась наверх и сказала: «Дорогой муженек, не надо сердиться. Видно, так уж устроено мое естество, что меня подымает среди ночи и, словно ведьму, водит по всему дому».

Антония: А откуда ты знаешь все эти подробности?

Нанна: Да от нее самой. Когда она совсем махнула на себя рукой и стала гулящей, она всем, даже тем, кто не желал слушать, рассказывала о своих похождениях. К тому же один из десятерых молодцов, раздосадованный тем, что она предпочла ему другого,

более крепкого, назло ей разнес историю по всему городу, по тавернам и площадям, цирюльням и лавкам.

Антония: Она поступила совершенно правильно. Поделом старому безумцу, которому следовало взять в жены свою ровесницу, а не девушку, которая сто раз годилась ему в дочери.

Нанна: Ты права, так ему и надо. Но она не успокоилась, наставив ему столько рогов, что их хватило бы на тысячу оленей. Влюбившись в продавца календарей, она избавилась от мужа, подсыпав ему в суп из пакетика с перцем какого-то порошка. И покуда он умирал, спозналась с этим мошенником, который прямо на глазах у мужа нанизал ее на свой вертел. Так говорят, но я, конечно, не поручусь, я над ними со свечой не стояла.

Антония: Боюсь, что, к сожалению, так оно, наверное, и было.

Нанна: А теперь послушай другую историю. Жила в нашем городе одна дама, муж которой был большой охотник до карт, особенно до примьеры<sup>83</sup>, — ну прямо как обезьяна до вишен. Игроки частенько собирались в его доме большой компанией. А так как неподалеку от города у них было имение, каждые две недели оттуда являлась крестьянка (она недавно овдовела) с какими-нибудь приношениями для хозяйки дома: сушеными вишнями, орехами, оливками, печеным виноградом, первыми фруктами и первыми овощами. Немного посидев, она пускалась в обратный путь. Как-то накануне праздника она явилась к хозяйке с большою вязкой улиток и корзинкой, где на подстилке из мяты были уложены двадцать пять груш. Но покуда она у нее сидела, погода переменялась, задул ветер и полил такой дождь, что она решила остаться на ночь. Этим решил воспользоваться муж, бездельник и пьяница, наглец и болтун, который, не стесняясь присутствия жены, говорил все, что ему взбредет в голову. Он не только облюбовал крестьяночку для себя, но решил, что заслужит славу доброго товарища, если устроит игру в «тридцать один» для всей

своей карточной компании, которая в тот момент сидела у него. Картежники, смеясь, выслушали его предложение и договорились вернуться в его дом после ужина. «Работнице постелѣ в амбаре», — сказал хозяин жене; та ответила, что так и сделает, и села с ним ужинать, посадив в конце стола румяную как яблочко крестьянку. Вскоре после ужина явилась вся честная компания, и хозяин, отозвав жену в сторону, приказал ей идти спать и отослать спать и работницу. Однако жена, которая знала о слабости своего мужа, большого бабника, сказала себе: «Говорят, что стоит один раз всласть натешиться — и больше не потянет. Ясно, что муженек мой, которому плевать на все приличия, решил пошарить в мошне и кошельке у нашей работницы, а это значит, что я могла бы попытаться узнать наконец, что это за блюдо такое «тридцать один», о котором я столько слышала и которое приготовил для крестьянки мой мошенник со своими друзьями». Рассудив таким образом, она уложила работницу в свою постель, а сама легла там, где для той был приготовлен ночлег. И вот слышит она, как муж торопливо приближается к ее кровати и при этом так странно сопит, что его друзья, которые должны были приступить к трапезе после него, не могут удержаться от смеха; со всех сторон доносятся сдавленные смешки, потому что все зажимают себе рот ладонью (подробности рассказал мне один из этой компании, с которым я потом иногда спала). Наконец главный участник турнира добрался до той, что Никогда-Ах-Никогда-Не-Ждала-С-Таким-Нетерпением, и, пристроившись рядом, обхватил ее с такой силой, словно хотел сказать: «Врешь, не уйдешь». Она сделала вид, будто только что проснулась и хочет встать, но он крепко прижал ее к себе и, раздвинув коленом ноги, запечатал ее письмо своею печатью, даже не заметив, что это его жена; вот так же мы с тобой не замечаем, как растут листья на фиговом дереве, укрывающем нас своею тенью. Жена, почувствовав, что он трясет сливу не как муж, а как любовник, подумала: «Надо же, с каким аппетитом бездельник жует чужой ломоть, а ведь свой

едва надкусывает». Короче говоря, он запечатал ей письмо два раза, а потом вернулся к товарищам и с громким смехом заметил: «Лакомый кусочек! Стоило постараться! Тело у нее крепкое и нежное, как у благородной дамы». Видимо, он думал, что зад у крестьянки должен быть из мяты и черноголовника. Сказав это, он сделал знак следующему, который набросился на парную говядину (как сказали бы в Романье) с такою же жадностью, с какой голодный монах набрасывается на суп. Потом настал черед третьего, который устремился к лакомому кусочку, как устремляется рыба к червяку, и было очень смешно, когда, загоня шуку в садок, он произвел три громовых выстрела, не сопровождаемых вспышками молнии. На висках у дамы выступил пот, и она подумала: «Да, эти не церемонятся, вот что значит „тридцать один“». Я не хочу задерживать тебя описанием того, что они с ней проделывали — всеми способами, всеми средствами, всеми путями, во все места (как говаривала поклонница Петrarки, известная под именем Мне-Мама-Не-Велит<sup>84</sup>). Скажу только, что, приняв двадцатого, она кончила и замяукала, словно кошка. И когда очередной претендент дотронулся до ее гудка, а потом щелки, ему показалось, будто он вляпался в какое-то месиво из слизняков. Он растерянно отпрянул и, стараясь до нее не дотрагиваться, сказал: «Утрите-ка сопли, госпожа, если хотите, чтобы я дал вам понюхать свой каперс». Покуда он все это произносил, вся банда слушала его наставления с пиками наперевес. Каждый был готов сразу после него ринуться в атаку, и, в общем, все это было немного похоже на то, как в четверг, пятницу и субботу Страстной Недели ремесленники и крестьяне стоят в очереди в исповедальню, дожидаясь, когда из нее выйдет с отпущением грехов очередной кающийся. Кое-кто из ожидавших вытащил из штанов своего зверька и тер его, покуда тот не выпускал дух. Наконец настала очередь последних четверых, которые, видно, совсем уже спятив, решили, что будет неблагоприятно пускаться в плаванье по этому кисельному морю без спасательного поплавка. Они зажгли факел,

с которым, ругаясь, обычно уходили домой проигравшиеся игроки. Войдя с ним в комнату, они, к великому огорчению устроителя игры, обнаружили там его жену, буквально плававшую в блаженстве. Она поняла, что ее узнали, и сказала, напустив на себя вид гулящей девки с Понте Систо: «А что такого? Вот пришла мне в голову такая фантазия — и все. Кто только не рассказывал мне про „тридцать один“, и мне тоже захотелось попробовать, а там будь что будет». Муж, старавшийся сделать хорошую мину при плохой игре, сказал: «Ах так, дорогая женушка? Ну и что? Как тебе показалось?» — «В общем, мне понравилось», — ответила жена и, не в силах больше удерживать в себе начинку, бросилась в отхожее место. Там она распустила пояс, поднатужилась, как тужится, освобождая желудок, обжора монах, и отправила в первый круг ада двадцать семь нерожденных душ. Когда крестьянка узнала, что приготовленный для нее овес достался другой, она поняла, как жестоко ее обманули, и, вернувшись домой, целый год дулась на хозяйку.

Антония: Ну что ж, блажен тот, кто находит способ утолить свои желания.

Нанна: Я с тобой согласна. Но той, которая утляет свои желания посредством игры в «тридцать один», я не завидую. Мне и самой приходилось это попробовать, и не раз (спасибо тем, кто предоставлял мне такую возможность), но я нахожу, что это совсем не так приятно, как думают. Вот если бы вполтину короче, тогда другое дело. Ну а сейчас я перехожу к рассказу об одной (пусть она останется безымянной) даме, которая влюбилась в острожника, такого мерзавца, что даже виселицы для него было жалко. Это был парень, у которого в двадцать один год умер отец, оставивший ему в наследство четырнадцать тысяч дукатов — половину в звонкой монете, половину в поместьях и обстановке дома, вернее, дворца. В течение первых трех лет он пропил, проиграл и протрахапал все деньги, а в последующие три наложил лапу на поместья и с ними тоже покончил. А так как продавать любые строения в своих поместьях он не имел права

(в завещании это ему запрещалось), он разобрал дома и продал камни. Потом дошла очередь и до обстановки. Сегодня он закладывал простыню, завтра продавал скатерть, потом кровать, сначала одну, потом другую. Так постепенно он распродал все и так подорвал свое финансовое положение, что когда заложил, а потом продал, вернее, выбросил на ветер дворец, он остался буквально в чем мать родила. И тут он пустился во все тяжкие, совершая самые немыслимые преступления: лжесвидетельство, членовредительство, воровство, разбой, шулерство, обман, надувательство, смертоубийство. Он успел побывать в нескольких тюрьмах, где отсидел по три-четыре года и где ему пришлось очень несладко. В последний раз его посадили за то, что он плюнул в лицо мессире по имени Не-Хочу-Поминать-Его-Все<sup>85</sup>.

Антония: Гнусный святотатец!

Нанна: Да, настолько гнусный, что сожителство с собственной матерью было, наверное, наименьшим из его грехов. Будучи совершенно нищим, он был как никто богат французской болезнью. Его болезни хватило бы на тысячу ему подобных и еще бы осталось. И вот в ту пору, когда этот Плевал-Я-На-Веру сидел в тюрьме, врач, которого город содержал специально для лечения узников, сказал пациенту, беспокоившемуся за свою ногу (у него был рак): «Уж если я вылечил одному из ваших его чудо-шишку, мне ли не справиться с ногой!» Слова про «чудо-шишку» дошли до ушей вышеуказанной дамы и запали ей в душу; она стала сохнуть по этой шишке, по этому диву дивному, как сохла некогда по быку одна царица<sup>86</sup>. Не зная иных способов удовлетворить свою прихоть, она решила совершить какое-нибудь преступление, чтобы попасть в тюрьму, где был заключен Плевал-Я-На-Крест. Когда наступила Пасха, она причастилась, не исповедавшись, а будучи в этом уличена, еще и сказала, что сделала это нарочно. Слух о происшествии распространился повсюду, и когда о нем сообщили городскому голове, он распорядился арестовать преступницу. Будучи подвергнута пытке, она призналась, что при-

чиной ее преступления была безудержная похоть. Ей хотелось попробовать, каков же на вкус этот корень, который так прославил его обладателя — уродливого, вонючего, вшивого, обсыпанного гнидами, с клеймом французской болезни — шрамом поперек широкого расплющенного носа, с глазками такими маленькими и посаженными так глубоко, что их почти не было видно. Мудрый городской голова распорядился посадить ее к нему в камеру, сказав: «Это и будет тебе наказание на веки вечные за совершенный тобою грех». Она же, узнав, что приговорена пожизненно, обрадовалась этому, как радуются узники, выходящие из тюрьмы на свободу. Говорят, что когда она в первый раз отведала его початка, она воскликнула: «Да это же райские кущи. Как мы тут заживем!»

Антония. А что, початок, говоришь, был у него, как у осла?

Нанна: Больше.

Антония: Как у мула?

Нанна: Больше.

Антония: Как у быка?

Нанна: Больше.

Антония: Как у жеребца?

Нанна: Втрое больше.

Антония: Ну что, прямо как те колонны, что поддерживают балдахин над кроватью?

Нанна: Вот теперь ты угадала.

Антония: Подумать только!

Нанна: Так вот, пока они там услаждались, народ стал приставать к городскому голове, требуя, чтобы из уважения к закону он отправил преступника на виселицу, предоставив ему предварительно положенные десять дней. Ах да, я совсем забыла, мне надо еще кое-что тебе рассказать, а к этому негодяю я еще вернусь. Так вот, как только распутница оказалась в тюрьме и сбросила маску, известие об этом распространилось по всему городу, дав пищу для разговоров простому люду и ремесленникам и в особенности женщинам. В окнах, на балконах, на улицах только об

этом и говорили, кто с насмешкой, кто с негодованием. Стоило у чаши со святой водой собраться шести сплетницам, как разговоров хватало на два часа. Была и в моей округе такая компания. И вот одна из сплетниц (знаешь, из тех, что Пусть-Я-Простая-Зато-Порядочная) заметила, что подружки, заслушавшись ее речей, отложили прялки, и воскликнула: «Своим поступком эта мерзавка опозорила всех женщин, мы должны пойти к тюрьме, выкурить ее оттуда огнем и, посадив в телегу, разорвать на куски, побить камнями, содрать заживо кожу, распять на кресте». Выкрикивая все это, она раздувалась прямо как бочка, а домой возвращалась с таким видом, будто честь всех женщин отныне зависела только от нее.

Антония: Вот дура!

Нанна: Так вот, когда преступнику дали его десять дней и об этом узнала Будешь-Знать-Как-Плевать-В-Церкви, то есть та самая, что хотела огнем выкурить преступницу из тюрьмы, она вдруг его пожалела, представив себе, какой ущерб понесет город, лишившись самой большой из своих пушек. Ведь эта пушка силою одной лишь своей славы, не приводя никаких доказательств, притягивала к себе всех неудовлетворенных, как магнит притягивает иголку, а огонь — солому. И ее охватило такое желание ею насладиться, что она, наплевав на все святое (мягко говоря), придумала уловку, неслыханную по своему коварству.

Антония: Что же она придумала (упаси нас Бог от таких желаний)?

Нанна: У нее был муж, такой хворый, что после двух часов, проведенных на ногах, ему нужно было два дня отлеживаться. К тому же порою с ним случались сердечные припадки, когда он задыхался и казалось, вот-вот отойдет. Так вот, она узнала, что любая обитательница борделя может спасти приговоренного к смерти, если в момент, когда его везут к месту казни, выбежит навстречу и крикнет: «Это мой муж!»<sup>87</sup>

Антония: Да что ты говоришь!

Нанна: И потому она решила сначала придушить

собственного мужа, а затем, воспользовавшись правом гулящей, взять себе в мужья этого разбойника. Как раз когда она все это обдумывала, мужу вдруг стало плохо. «Ох-ох», — простонал несчастный, глаза у него закрылись, ноги подкосились, и он лишился чувств. Она взяла подушку, положила ее прямо ему на лицо, а сама села сверху (а была она, между прочим, попе-рек себя шире, не женщина, а бочонок с соленой треской!) и таким образом заставила его испустить дух, который вышел у него оттуда, откуда выходит переваренный хлеб.

Антония: О!

Нанна: А потом она растрепала себе волосы и подняла такой крик, что сбежались все соседи. Они знали, что бедняга был болен, и поэтому несколько не усомнились в том, что он испустил дух во время одного из своих обычных припадков. Похоронив его подобающим образом (между прочим, он был довольно-таки богат), эта взбесившаяся сука (извини, но я должна это сказать) подалась в бордель. А так как ни среди ее родственников, ни среди родственников мужа не нашлось ни одного порядочного человека, никто ей в этом не воспрепятствовал, а все прочие решили, что из-за смерти несчастного она повредила в уме. И вот настала ночь, предшествующая дню, когда должны были казнить ненавистного всем негодяя. Город опустел, потому что все мужчины и почти все женщины собрались у дворца городского головы, желая услышать, как будут читать смертный приговор тому, кто тысячу раз заслужил смерть. А он только рассмеялся, когда судья произнес: «По воле Божией и по воле его сиятельства городского головы (я бы переставила их местами) ты должен умереть». Преступника в цепях и наручниках вывели к народу и усадили на охалку соломой, поставив по бокам двух священников, которые должны были давать ему последнее утешение. И хотя от образа, который они то и дело подносили ему для поцелуя, он нос не воротил, вел он себя так, словно ничего не случилось: болтал и каждого, кто к нему подходил, окликал по имени. Когда настало утро, боль-

шой колокол на здании городской управы возвестил о том, что церемония начинается. Из окон вывесили хоругви, и один из судейских, с особенно громким голосом, приступил к чтению приговора, которое длилось до самого вечера. На шею преступнику надели толстую цепь из позолоченного каната, а на голову водрузили бумажную корону, что должно было означать, что он король разбойников. Под звуки трубы, оплакивающей его драгоценную подвеску, стража повела негодя к месту казни, толпа двинулась следом, и всюду, где он проходил: на балконах, в окнах, на крышах — собирались женщины и дети. Наконец он подошел к месту, где стояла, вся дрожа, та взбесившаяся сука, ожидая минуты, когда она сможет броситься ему на шею с тою же алчностью, с какой бросается на воду человек, страдающий лихорадкой. Нисколько не смущаясь, она кинулась вперед, яростно расталкивая толпу, громкими криками прокладывая себе дорогу, и, добравшись, красная и растрепанная, прижала его к груди и воскликнула: «Я твоя жена!» Судейские остановились, а с ними и вся толпа; люди толкались, тесня друг друга, и шум стоял такой, будто вдруг разом зазвонили колокола, возвещающие о пожаре, о войне, о проповеди и празднестве. О случившемся сообщили городскому голове, и ему пришлось, повинувшись закону, отпустить преступника на свободу. Его увела эта тварь, подставившая ему вместо виселицы собственную шею.

Антония: Ну прямо конец света!

Нанна: Ха-ха-ха!

Антония: Чего ты смеешься?

Нанна: Я подумала о той, другой, которая, можно сказать, перешла в лютеранскую веру ради того, чтобы оказаться с ним в одной камере. Получается, что ее сердце было разбито трижды: первый раз, когда его увели из тюрьмы, второй — когда она думала, что его повесили, и третий, когда она узнала, что ее собственностью — всем ее именем и достоянием — завладела другая.

Антония: Возблагодарим же Господа, который трижды ее наказал.

Нанна: А теперь, сестричка, послушай другую историю.

Антония: С удовольствием.

Нанна: Жила-была одна женщина, ужасная привереда, сама, правда, хорошенькая, но ничего особенного, просто миловидная. Что бы ей ни показали, все ей было не так, на все она морщила нос и поджимала губы. Эдакая брезгливая кошка, своевольная, наглая, капризная, зануда, каких не знал свет. Все, что она видела вокруг, ее не устраивало: глаза, ресницы, лбы, носы, губы. Ни разу ей не попались зубы, о которых она не сказала бы, что они черные, или редкие, или слишком длинные. Она не знала ни одной женщины, которая, по ее мнению, была бы способна поддержать светский разговор, а платья на всех них без исключения висели, как на вешалках. Если она замечала, как какая-то дама поглядывает на мужчину, она говорила: «А я-то считала, что она порядочная, а она вон какая! Кто бы мог подумать! Я готова была поклясться...» Эта привереда одинаково поносила и тех женщин, которые любили покрасоваться в окошке, и тех, которые никогда к нему не подходили. Одним словом, она критиковала всех подряд, и люди стали ее избегать, боясь сглаза. Даже в церкви во время мессы она давала понять, что все тут не по ней: скажем, слишком воняло, даже ладан и тот вонял. «И это называется „подмели“? — морщась, говорила она. — Это называется „прибрались“?» Твердя «Pater noster», она буквально обнюхивала каждый алтарь и всюду находила повод, чтобы выразить неудовольствие. «Ну и покровы!» — «И это подсвечники?» — «Что за скамейки!» Когда читали Евангелие, она не желала подниматься вместе со всеми в положенных местах и только покачивала головой, словно не слыша слов священника. Принимая просфору, она обязательно замечала, из какой плохой муки она выпечена, а опустив палец в святую воду перед тем как перекреститься, говорила: «Просто срам,

ее никогда не меняют». Какой бы мужчина ей ни встретился, она морщилась и восклицала: «Ну и индюк!», или: «Какие тощие ноги!», или: «Что за ножищи!», или: «До чего же нескладный!», или: «Настоящий скелет!», или: «Ну и рожа!» И вот эта-то особа, которая, видимо, полагала, что в ней-то есть все, чего не хватало другим женщинам, положила глаз на одного монаха, который ходил по домам за подаянием с дырявым мешком за плечами и колотушкой в руке. Он постучал как-то в ее дверь, и она увидев его молодость, здоровье и простоту, вовлекла его в любовную связь. Утверждая, что нищий должен получать подаяние прямо из господских рук, а не от прислуги, она завела обычай сама выносить его монаху. А если муж говорил: «Пусть отнесет служанка», — она вступала с ним в многочасовой спор на тему о том, что такое милостыня и какая разница между тем, когда подаешь сам и когда поручаешь это прислуге. И когда она хорошенько познакомилась с этим вечно голодным супохлёбом, приносившим ей в подарок восковые изображения Святого Агнца, она кое о чем с ним и договорилась.

Антония: О чем же это?

Нанна: О том, что он заберет ее к себе в монастырь.

Антония: Каким же это образом?

Нанна: Переодев монахом. И вот, желая создать повод для бегства из дома, как-то вечером она затеяла с мужем спор, утверждая, что августовская Мадонна приходится на шестнадцатое число, и довела его до такого бешенства, что он схватил ее за горло и, наверное, свернул бы шею, если б не вмешалась мать.

Антония: Вот упрямая дура!

Нанна: Придя в себя, она начала кричать: «А, значит вот ты как! Ну все, это тебе даром не пройдет, я пожалуюсь братьям. С женщиной ты куда как смел, а вот попробуй с мужчиной, тогда поглядим! Все, с меня довольно, больше я терпеть не намерена. Уйду в монастырь — лучше питаться травой, чем по-

лучать от тебя колотушки. Или утоплюсь в отхожем месте, даже это лучше, чем жить с тобой». Всклипывая, она уселась, уткнув голову в колени, отказалась ужинать и, наверное, просидела бы так до утра, если бы мать не увела ее с собой, причем ей пришлось два раза отбивать ее у мужа, который хотел буквально разорвать ее в клочья. Ну а монах (лет ему было около тридцати, высокий, смуглый, худой, веселый, общительный) на другой день пришел за милостыней, подгадав так, чтобы мужа не было дома. Услышав стук в дверь и обычную фразу «Подайте милостыню монахам», щедрая дарительница, как всегда, сама вышла к просителю, и они договорились бежать на следующее утро. Монашек ушел, а назавтра, за час до рассвета, раньше булочника, появился около ее дома с плащом монаха в руках, постучался и крикнул: «Давайте!» Наша гордячка живо вскочила с постели, приговаривая: «Кто же о тебе позаботится, если ты сам о себе не позаботишься?», пнула ногой в дверь служанки, крикнув: «Вставай и убирайся вон!», сошла вниз, открыла дверь и впустила супохлёба в дом. Потом сняла накинутую в спешке рубашку, положила ее вместе с домашними туфельками на край колодца, переделалась в монашеское платье, вышла, захлопнула за собой дверь и, никем не замеченная, скрылась вместе с монахом. Тот привел ее в келью и сразу же задал ей овса. Он уложил ее на свою провонявшую клопами кровать с соломенным изголовьем, прямо на толстую подстилку, прикрытую двумя узкими, грубыми простынями, задрал рясу и, сопя и дергаясь, принялся за работу. Это было в точности как августовское предгрозовое ненастье, когда бурные порывы ветра ломают и валят оливковые, вишневые, лавровые деревья. Крохотная, длиною в два шага комнатка вся ходила ходунном, сотрясаемая ударами его ляжек, упала на пол дешевенькая картинка с изображением Мадонны, которая огарком свечи была прикреплена к стене, а женщина, катаясь по постели, только мурлыкала, как кошка, которую чешут за ухом. Наконец ее дружок, крутивший мельничное колесо, пустил на него воду...

Антония: Не воду, а масло, если ты хочешь выражаться правильно. Недавно я говорила с матерью той, что зовется Мне-Мама-Не-Велит, она научила меня правильно употреблять такие слова, как «мурлыкать», «кончить», «трепетать».

Нанна: Как это?

Антония: Она сказала, что сейчас появился новый язык, и ее дочь — в нем большая дока.

Нанна: Что это еще за новый язык? И где ему учат?

Антония: Я же говорю — Мне-Мама-Не-Велит. Она вышучивает каждого, кто не умеет говорить правильно. Она утверждает, что теперь нужно говорить не «щеки», а «ланиты», не «грудь», а «перси», не «глаза», а «очи», не «дергаться», а «трепетать», не «потечь», а «кончить». А уж слово «забавляться», к которому ты прибегала не меньше ста раз, — это вообще ее конек. Думаю, что приверженцам этой школы хотелось бы переместить букву «х» в самый зад, что, конечно, куда аристократичнее.

Нанна: Ну, это их дело. Что до меня, то я-то как раз люблю, чтобы ее помещали спереди, прямо за той дверцей, из которой меня некогда выкакали. И слово «болтать» мне нравится больше, чем «пустословить», а «полоумный» — больше, чем «душевнобольной», просто потому, что так говорят в моих родных краях. Но вернемся к монаху. К обоюдному удовольствию, он отведал нашу даму дважды, не вынимая клюва из блюда.

Антония: Надо же!

Нанна: Так как ему пора было отправляться по делам, он запер женщину в келье, предварительно уложив ее под кровать на случай, если кто-то зайдет. Покружив по улицам и собрав немного муки для профора, он направился к дому своей похотливой подруги, чтобы узнать, что тут произошло после ее levamini<sup>88</sup>. Еще на подходе до него донесся какой-то шум, а приблизившись вплотную, он услышал голос ее матери и служанок, которые кричали, высунувшись в окно: «Крюки, несите крюки! И веревки, побольше веревок!»

Антония: Зачем им понадобились крюки?

Нанна: А вот зачем. Заметив, что их капризницы нету дома, они принялись ее звать, потом искать — повсюду, наверху и внизу, и, увидев на краю колодца туфельки и рубашку, решили, что она в него бросилась. «Сюда! Все сюда!» — закричала мать. Сбежались соседи и стали помогать ей выуживать из колодца ту, которая ухватила свою удачу за хвост и теперь спокойно спала в келье. Сердце разрывалось при виде бедной старухи, которая забрасывала в колодец крюк и приговаривала: «Цепляйся, доченька, милая моя доченька, это я, твоя мама, твоя добрая мама... А он, этот подлец, этот мерзавец, этот иуда, эта скотина!» Ничего не зацепив...

Антония: «Ничего не зацепив!» Нынче сказали бы: «Ничего не обнаружив в колодце...»

Нанна: Ничего не обнаружив в колодце, она в отчаянии отшвырнула крюк и, сцепив пальцы, как это делают, когда читают молитву, обратилась к небу: «Господи, и ты считаешь это справедливым, чтобы моя доченька, такая хорошенькая, такая ученая, никому не делавшая зла, погибла подобным образом? Так-то ты оценил мои молитвы и милостыню, которую я подавала во имя Твое? Да я лучше умру, чем поставлю тебе хотя бы одну свечку!» Тут она заметила в толпе монаха, который не мог удержаться от улыбки, слушая эти жалобы, и, не подозревая об истинной участи своей дочери, решила, что он, как обычно, явился за мукбй. Схватив беднягу за капюшон, она выволокла его со двора, как будто хотела с его помощью свести счеты с Богом, позволившим ее дочери броситься в колодец. «Ах ты, лизоблюд, — кричала она, — ах ты, супохлѣб, несытое твое брюхо! Мошенник, нечестивец, нарушитель постов, грязная свинья, чернокнижник, обжора, пердун, винная бочка!» Услышав, как она его честит, люди чуть не обмочились от смеха. Ему же было интересно послушать, о чем толкует народ, верит ли он в это самоубийство. Нашлись старушки, которые помнили, как рыли этот колодец; они говорили, что на дне от него отходит во все стороны множество

ответвлений и несчастную, конечно, унесло в одно из них. Услышав это, мать снова заплакала. «Ах ты, моя доченька, — причитала она, — ты умрешь там от голода, и я никогда больше не увижу, как ступаешь ты по земле — такая красивая, такая грациозная, такая добрая». И хотя она сулила золотые горы всякому, кто согласится спуститься в колодец, все боялись заблудиться в норах, о которых говорили старухи, и, отвернувшись от несчастной матери, шли себе с Богом прочь.

Антония: Ну а муж что?

Нанна: Муж вел себя, как кот, который забрел в чужой дом и обжег там хвост. Он не решился выйти к людям: во-первых, все прямо говорили, что она бросилась в колодец оттого, что он дурно с ней обращался, а во-вторых, он боялся, что теща в самом деле выцарапает ему глаза. Но укрыться от нее ему все-таки не удалось. «Ну что, подлец, теперь ты доволен? — набросилась на него старуха. — Это ты своим пьянством, игрой и распутством загнал в колодец мою девочку, мою радость. Быстрей надень крест на шею, иначе я разорву тебя собственными руками. погоди, дождешься и ты своего часа, никуда не денешься. Получишь и ты наконец по заслугам. Вот он, убийца, скажут люди, вот он, злодей, вот он, душегуб». Бедняга выглядел как боязливая барышня, что зажимает себе уши при звуке выстрела. Дождавшись, когда теща устала поливать его своим ядом, он сбежал в свою комнату и закрылся, раздумывая о смерти жены, которая казалась ему очень странной. А обезумевшая от горя мать нашей капризницы, поняв, что ничего не поделаешь, превратила колодец в настоящий алтарь: она прикрепила к нему все образа, которые нашлись в доме, зажгла освященные десять лет назад свечи и каждое утро, перебирая четки, молилась тут о душе своей дочери.

Антония: А куда отправился монах, после того как его, схватив за капюшон, вышвырнули из дома?

Нанна: Вернулся в келью, вытащил из-под кро-

вати свою сучку и все ей рассказал. Они так смеялись! Так смеялся народ, глядя на шутовские проделки маэстро Андреа и Страшино, упокой Господи их души<sup>89</sup>.

Антония: Да, смерть поступила жестоко, похитив их у Рима. С тех пор как город овдовел, он не знает больше ни карнавалов, ни настоящих Стაციони<sup>90</sup>, ни праздника винограда — в общем, никаких развлечений.

Нанна: Ты не права. Ты могла бы так говорить, если бы Рим лишился также и Россо<sup>91</sup>, но он пока жив и на славу потешает нас своими шутками. Но вернемся к нашему монаху, который провел целый месяц, ежедневно делая по семь, восемь, девять, а то и десять миль, но возвращался в свою Иосафатскую долину всегда крепким, сильным и готовым к бою.

Антония: А чем он ее кормил?

Нанна: Да чем угодно. Ведь его делом было добывать для монастыря провизию, и он три раза в неделю наведывался в крестьянские дома, заглядывал на кухни и на гумна и всякий раз приводил в монастырь осла, нагруженного дровами, хлебом и лампадным маслом. И так как добывал все это он, он этим и распоряжался. К тому же он любил работать на токарном станке и делал неплохие деньги, продавая детям волчки, а мастерицам из знаменитого своим льном Витербо — песты и веретена. Кроме того, ему шла десятая часть выручки от продажи восковых свечей, которые зажигали на кладбище в день поминовения усопших. Да, и еще повара отдавали ему куриные головки, лапки и потроха. Однако пришел день, когда идол нашей капризной дамы (которая, поместив свое тело в раю, о душе думала не больше, чем думаем мы о войне гвельфов и гибеллинов<sup>92</sup>) вызвал вдруг подозрение у монастырского садовника. Тот заметил, что он рвет в огороде редко употреблявшиеся сорта салата, и, сопоставив это с его изможденным видом — худой, с запавшими глазами и нетвердой походкой, а также с тем, что постоянно видел его с яйцом в руке, сказал себе: «Тут что-то не так». Садовник поделился

своими подозрениями со звонарем, тот поговорил с поваром, повар с пономарем, пономарь с настоятелем, настоятель с главой местной церкви, глава церкви с генералом ордена. У кельи монаха установили наблюдение и, дождавшись, когда он уйдет в город, открыли дверь специально сделанным ключом. Открыв, они обнаружили там оплакиваемую матерью покойницу, которая так растерялась, услышав: «Выходи», — что лицо у нее стало в точности как у ведьмы, когда под столбом, к которому она привязана, поджигают хворост. Никому ничего не сказав, они кликнули монаха, который как раз возвратился из города, связали его, и ты очень ошибаешься, если думаешь, что они стали с ним церемониться. Его заперли в темной келье, в которой на целую пядь стояла вода, и держали там, давая в день два ломтя хлеба — один утром, другой вечером, стакан воды, разбавленной уксусом, да полголовки чеснока. Потом они стали обсуждать, что делать с женщиной. «Похороним ее заживо», — сказал один. «Пусть умрет в тюрьме, как и он», — сказал другой. «Давайте вернем ее домой», — сказал третий, самый милосердный. Но нашелся еще один, самый мудрый из всех, который сказал: «Давайте побалуемся с нею несколько дней, а потом Господь нам подскажет, что делать дальше». Услышав такое предложение, засмеялись и молодые, и пожилые, даже старики и те захихикали. В общем, они решили выяснить, сколько нужно петухов, чтобы ублаготворить одну курицу. Любительница морковки, услышав этот приговор, тоже не удержалась от улыбки, сообразив, сколько петухов ей предстоит ублажить. Когда наступил час ночной тишины, с нею посредством рук побеседовал генерал, потом глава местной церкви, потом настоятель, а вслед за ним все остальные, от звонаря до огородника, стали карабкаться на ореховое дерево и трясти его так, что даже она осталась довольна. Два дня подряд воробьи только тем и занимались, что взлетали на стог, а потом с него слетали. Спустя несколько дней выпустили из преисподней и бедного узника. Он всё всем простил и так хорошо со всеми поладил, что забавлялся от-

ныне со своею дамой в компании с остальными святыми отцами. Можешь себе представить, что целый год ее перемалывали эти жернова?

Антония: Отчего же не представить? Отлично представляю.

Нанна: Наверное, она осталась бы там навсегда, если б не забеременела и не родила. После того как она родила (а родила она получеловека-полусобаку), она разонравилась монахам.

Антония: Почему?

Нанна: Потому что после родов амбразура у нее стала такая широкая, что просто страх. К тому же, прибегнув к черной магии, они узнали, что она переспала с собакой садовника.

Антония: Разве такое возможно?

Нанна: За что купила, за то и продаю. Так говорили все, кто видел мертвое чудовище, а умертвили его монахи.

Антония: И что же они сделали со своей шлюхой, после того как она родила?

Нанна: Вернули мужу, точнее, матери, прибегнув к одной замечательной хитрости.

Антония: Ну-ка, расскажи.

Нанна: Один из монахов, который умел вызывать духов и закупоривать их в бутылку, как-то ночью забрался по садовой ограде на крышу дома, где жила раньше монастырская подстилка. Дождавшись, когда все уснут, он подошел к двери, ведущей в комнату матери, которая, как и прежде, плакала, призывая любимую дочь, и, когда услышал: «Где ты сейчас, моя доченька?», то, изменив голос, сказал: «Я в безопасности, я осталась жива благодаря молитвам, которые вы творили у колодца, они укрыли меня под своею сенью. Пройдет два дня, и вы увидите меня целой и невредимой». Оставив мать в полной растерянности, монах убежал и, вернувшись туда, откуда пришел, рассказал о своей проделке братьям. Призвав общую жену, настоятель от имени всей братии поблагодарил ее за доброту, отсыпал ей еще два вьюка благодарно-

сти и, извинившись за то, что не воздал ей должного, предложил добавить еще. На нее надели белую рубаху, венок из оливковых листьев, дали в руку пальмовую ветвь и за два часа до рассвета отослали домой в сопровождении монаха, возвестившего матери о скором возвращении беглянки. Мать, воспрянувшая к жизни после того видения, с нетерпением ожидала домой свою столь охочую до плоти без костей дочку. Когда та, убегая, оставляла свои вещи на краю колодца, она не забыла прихватить с собой ключи от черного хода. Воспользовавшись ими, она вошла в сад и отпустила магистра черной магии, предварительно позволив ему откусить от себя кусочек. А после этого уселась на колодезную крышку и стала ждать, когда рассветет. Служанка, которая вышла набрать воды для завтрака, увидела свою хозяйку, одетую как Святая Урсула, и закричала: «Чудо! Чудо!» Мать, которая уже знала, что должно случиться чудо, скатилась вниз по лестнице и бросилась на шею дочери с такою страстью, что едва в самом деле ее не утопила. И муж тоже пришел, не думай, хотя теща и намылила ему голову. Он бросился к ногам жены и, не в силах произнести *miserere*<sup>93</sup>, так и остался, раскинув руки, словно святой Франциск, показывающий стигматы. Она же подняла его и поцеловала. А потом она столько всего наплела про свою жизнь в колодце, намекнув, что встречалась там с Сивиллой из Норчии и тетей феи Морганы, что многим захотелось туда броситься. Ну, что тебе еще сказать? Колодец стал таким знаменитым, что его обнесли решеткой и женщины, с которыми нелюбезно обходились мужья, стали приходить сюда и пить воду, говоря, что это хорошо помогает. Потом сюда начали совершать по обету паломничество и те, что еще только собирались выйти замуж: они просили колодезную фею сделать их брак счастливым. За один только год сюда наташили свечей, рубашек и образков больше, чем к гробнице святой блаженной Лены далл'Олио в Болонье<sup>94</sup>.

Антония: Вот еще и с этой Леной все с ума походили!

Нанна: Придержи язык, а то дождешься, что тебя отлучат от церкви. Разве ты не знаешь, что один кардинал уже собирает деньги для ее канонизации? Все считают, что это она в паре с монахом обращала в истинную веру народ во владениях блаженной Васталлы<sup>95</sup>.

Антония: Ну что ж, дай ему Бог!

Нанна: Чтобы не затягивать дело, на этом я, пожалуй, закончу свой рассказ о замужних женщинах. Но перед этим поведаю еще об одной, которая, имея замечательного мужа, влюбилась в бродячего торговца. Из тех, знаешь, что носят свою лавку прямо на себе, повесив ее на лямках себе на грудь. Они ходят по улицам, крича: «А вот кому красивые шнурки, ленты, иголки, булавки, наперстки, зеркала, гребенки, шпильки!», и торгуются с разными вертихвостками, отдавая свои притирания, мыло и фальшивые духи за хлеб, тряпье и пару старых-старых башмаков с добавкой нескольких сольди. И так она в него втюрилась, что бросила ему под ноги свою честь и растратила на него целое состояние. Обладатель же хвоста, который она так обожала, сменив свое тряпье на богатые одежды, стал играть в карты с настоящими мастерами этого дела и за какую-то неделю приобрел у них репутацию синьора, заслуживающего всяческого уважения.

Антония: Чем же он этого добился?

Нанна: Тем, что обращался со своей благодетельницей, как со шлюхой. Мало того, что он потчевал ее палкой, он еще всем об этом рассказывал.

Антония: И правильно делал.

Нанна: Но это все пустяки. Самое удивительное случается со знатными дамами, и если бы я не боялась прослыть злоязычной, я рассказала бы тебе, кто из них спит со своим управляющим, кто с конюхом, кто с поваром, а кто и с поваренком.

Антония: Глупости, глупости, не хочу слушать.

Нанна: Ты же знаешь, что это правда!

Антония: Глупости, говорю.

Нанна: Ну ладно, ты меня поняла.

Антония: Еще как поняла.

Нанна: Заметь, что, говоря о монахинях, я рассказала тебе только о том, что успела увидеть за несколько дней в одном только монастыре. А про замужних — лишь часть того, что увидела и услышала в одном городе. Так представь же себе, сколько можно было бы порассказать обо всех монахинях и обо всех замужних дамах на свете!

Антония: Неужели настоящих монахинь так же мало, как денег, веры и благоразумия, — помнишь, ты говорила?

Нанна: Мало, но они есть.

Антония: Наверное, еще обсервантки<sup>96</sup>.

Нанна: Я ничего о них не рассказывала, но только благодаря молитвам, которые они возносят за своих преступных сестер, дьявол не заглатывает тех прямо живьем. Их девство столь же благоуханно, сколь зловонно распутство их сестер, и Господь пребывает рядом с ними денно и нощно, в то время как рядом с теми, другими — спят они или бодрствуют — пребывает дьявол. Горе нам (горе нам, горе нам — повторю это трижды), если перестанут о нас молиться эти маленькие святые. Да, святые, потому что настоящие монахини, которых так мало, столь совершенны и столь добродетельны, что впору разводить у них костер под ногами, как это делали с мучениками.

Антония: Ты молодец, мне нравится твоя беспристрастность.

Нанна: И среди замужних тоже есть порядочные женщины, которые дадут скорее заживо содрать с себя кожу, чем позволят прикоснуться к себе хотя бы пальцем.

Антония: Я рада, что ты это признаешь. Ведь если хорошенько подумать, то только лишь нужда, в которой проходит вся наша жизнь, заставляет нас вести себя так, как мы себя ведем. А на самом деле мы совсем не такие плохие, как принято считать.

Нанна. Нет, это не так. Причина всему — наша

плоть. Хвостом нас делают, и от хвоста же приходит наша погибель. В доказательство приведу тебе в пример благородных дам, которые готовы расстаться со всеми своими жемчугами, кольцами и цепочками и стать нищими ради хорошего любовника, который дороже бриллианта на пальце. На одну жену, которая любит мужа, приходится тысячи, которым он противен. На одну супружескую пару, которая довольствуется домашним хлебом, приходится семьсот, которые предпочитают брать его у булочника, потому что там он белее.

Антония: Признаю, что я была неправа.

Нанна: Принимаю твое признание. Итак, подведем итоги. Целомудрие женщины подобно хрустальному графину: с какой бы осторожностью с ним ни обращались, в конце концов он все-таки выскользнет из рук и разобьется. Сохранить его в целостности можно лишь заперев на ключ, и если это удастся, то это будет такое же чудо, как если бы хрустальный стакан, упав, не разбился.

Антония: Справедливое рассуждение.

Нанна: А под конец я вот что тебе скажу. Что такое жизнь замужней женщины, я знаю по собственному опыту. Я не хуже других потакала своим капризам, перепробовав самых разных мужчин, от носильщиков до знатных господ, а в особенности монашескую и священническую братию. И при этом мне хотелось, чтобы дорогой мой муж не только обо всем знал, но и все видел собственными глазами, потому что я же слышала, как все вокруг только и говорят: «Правильно делает, она обращается с ним так, как он того заслуживает». Когда однажды он решился сделать мне замечание, я все волосы ему повыдергала и сказала с жестокой прямоотой женщины, которая принесла мужу в приданое целое состояние: «Да как ты смеешь так со мной разговаривать, несчастный пьянчуга!» В общем, я так на него набросилась, что он вопреки обыкновению решил меня проучить.

Антония: Господи, Нанна, разве ты не знаешь,

что самый верный путь разозлить мужчину — это накинуться на него с бранью.

Нанна: Вот он и разозлился. Тысячу раз он все видел и все молча терпел, но однажды, застав меня под каким-то оборванцем, не выдержал и дал волю рукам. Я так разозлилась за то, что он помешал мне спокойно лакомиться, что вылезла из-под трудившегося надо мною токаря, вытащила нож, который всегда носила с собой, и всадила его мужу прямо под левый сосок. Он тут же испустил дух.

Антония: Прости ему, Господи, его прегрешения.

Нанна: Узнав о случившемся, мать помогла мне бежать, а потом, все распродав, приехала ко мне в Рим. О том, что было со мною дальше, ты узнаешь завтра. На сегодня хватит. От болтовни у меня не только в горле пересохло, но и есть захотелось. Вставай и пойдем.

Антония: Вот, встала. Ох, у меня левую ногу свело.

Нанна: Плюнь на нее три раза — так, будто делаешь крестное знамение, — и все пройдет.

Антония: Плюнула.

Нанна: Ну и как?

Антония: Проходит. Прошло!

Нанна: Ну, так пойдем потихонечку к дому. Я надеюсь, ты побудешь со мной сегодня вечером и весь завтрашний день.

Антония: Пожалуйста, я к твоим услугам.

С последними словами Нанна затворила калитку, и они молча отправились домой. Пришли они в тот самый час, когда Солнце уже натягивает сапоги, собираясь к Антиподам, которые ждут его, словно оцепеневшие куры. Замолчали с его уходом кузнечики, передав свое дело цикадам, и пропал с глаз День — как банкрот, спрятавшийся в церкви от кредиторов. Совы и летучие мыши вылетели навстречу своей хозяйке, Ночи; безмолвная, печальная, с завязанными глазами, вся погруженная в свои мысли, она шествовала по

земле, как одетая в траур овдовевшая матрона, которая оплакивает супруга, скончавшегося месяц назад. Вынырнув из облачка, как из простыни, и сбросив маску, появилась на сцене Та, что сводит с ума астрологов. И мерцающие звезды, добрые и злые, позолоченные великим ювелиром Аполлоном, уже начали заглядывать в окна: сначала одна, потом две, потом четыре, пятьдесят, сто, тысяча... Так на исходе ночи начинают, одна за другой, раскрываться розы, чтоб с первым лучом, посланным на землю покровителем поэтов<sup>97</sup>, предстать перед ним во всей своей красе. Я бы сравнил это с тем, как бывает, когда входит в деревню полк солдат: сначала появляется десять человек, потом — двадцать, и — оглянуться не успеешь, как вся братия рассеялась по деревне. Но боюсь, что мое сравнение не будет принято благосклонно: ведь супы нынче стряпают только из розочек, фиалочек и травинок. Но, как бы то ни было, к этому часу Нанна и Антония пришли туда, куда должны были прийти, сделали все, что положено было сделать, и легли спать до следующего дня.

---

## ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АРЕТИНОВОЙ ЗАБАВЫ, В КОТОРЫЙ НАННА РАССКАЗЫВАЕТ АНТОНИИ О ЖИЗНИ ДЕВОК

Обе встали, едва рассвело; распорядившись сложить в большую корзину с крышкой приготовленные с вечера кушанья, они кликнули служанку, и та, водрузив корзину на голову, а в руку взяв бутылку игристого корсиканского вина, двинулась впереди, а следом за ней Антония со скатертью и тремя салфетками, для того чтобы накрыть стол к завтраку прямо в винограднике. Едва они пришли, расторопная служанка расстелила скатерть на каменном столе в виноградной беседке близ колодца и открыла корзину. Первым делом она вытащила оттуда соль и поставила ее посреди стола. Потом разложила свернутые трубочкой салфетки, а за ними — ножи. Солнце должно было с минуты на минуту появиться над горизонтом, и, не желая завтракать вместе с ним, Антония и Нанна поспешили взяться за еду, побаловав себя в заключение половинкой головки молодого сыра. Позволив служанке доесть то, что осталось, включая сыр и вино, Нанна сказала ей: «А потом уберешь со стола», а сама, прежде чем усесться там, где сидели они накануне, прогулялась по винограднику, обойдя его дважды. Потом обе немного отдышались, и Антония сказала: «Когда нынче я одевалась, мне пришло в голову, что было бы замечательно, если бы кто-нибудь записал твои рассказы, а кто-то другой поведал бы еще и о жизни монахов, священников и мирян. Таким образом, женщины, о которых ты рассказала, получили бы возможность над ними посмеяться — ведь смеются же над нами они, когда мы во имя верности истине даем им в

руки оружие против самих себя. У меня в ухе звенит — должно быть, я права».

Нанна: Конечно, права. Но вернемся к рассказу с того места, как мать приехала ко мне в Рим.

Антония: Да, продолжай.

Нанна: Хорошо помню, что приехали мы как раз накануне праздника святого Петра. Если бы ты знала, какое удовольствие доставил мне вид сияющего огня-ми Замка<sup>98</sup>, вспышки взлетающих над ним ракет, пушечные выстрелы, а также свистки и пищалки, от которых проходу не было на мосту, в Борго и на улице Банки.

Антония: А где вы устроились по приезде?

Нанна: Мы наняли комнату возле Торре ди Нона<sup>99</sup> — всю в коврах, красиво убранную. Спустя неделю после того, как мы там поселились, хозяйка, которая была поражена моею красотой, шепнула словечко одному любителю — и если бы ты видела, сколько мужчин появилось на другой же день под нашими окнами! Медленно, словно стреноженные кони, они прогуливались вокруг дома, досадуя, что им не удастся как следует меня разглядеть. Я пряталась за жалюзи: время от времени я на мгновенье их приподымала, так что становилась видна часть лица, и тут же опускала обратно. И хотя я и в самом деле была красива, то, что мое лицо появлялось в окне лишь на мгновенье, делало меня в их глазах еще красивее. Благодаря этой уловке весь Рим заговорил о недавно приехавшей прекрасной чужестранке, и все захотели меня видеть. Ты ведь знаешь, все, что внове, всегда особенно интересно; чтобы взглянуть на меня, под окнами выстраивались настоящие очереди, а хозяйка не знала ни минуты покоя, потому что в дверь то и дело стучали. Чего только ей не сулили за то, чтобы она позволила им на меня посмотреть. Но моя мудрая мать (всему, что я когда-либо делала, делаю и буду делать, научила меня она) и слышать об этом не хотела. «Уж не думаете ли вы, что я из этих? — говорила она. — Бог уберезет мою дочь от опрометчивых шагов.

Я женщина благородная, и, хотя мы и попали в беду, благодарение Богу, у нас есть на что жить». После этих слов разговоров о моей красоте стало еще больше. Приходилось ли тебе видеть воробья в окошке хлебного амбара? Склюнув десяток зернышек, он летит прочь и через некоторое время возвращается, приводя с собою еще двух воробьев; а в следующий раз — четырех, а потом — три десятка, а потом — целую тучу. Вот так и мои поклонники вились вокруг нашего дома, пытаясь просунуть клюв в мой амбар. Я же, хотя и не давала им вволю насладиться видом моей красоты, сама не отводила глаз от щелей жалюзи и восхищалась элегантностью своих обожателей, разодетых в бархат и парчу, щеголявших драгоценными кокардами на шляпах и золотыми цепями на груди. В сопровождении свиты слуг они изяшно гарцевали на лоснящихся, словно зеркало, скакунах — кончик ноги в стремени, в руке «петраркино»<sup>100</sup> — и декламировали:

Коль не любовь — сей жар, какой недуг  
Меня знобит?<sup>101</sup>

То один, то другой останавливались они подле окна, за которым я играла с ними в прятки, и говорили: «Госпожа, неужто у вас хватит духу стать виновницей смерти стольких ваших поклонников?» В ответ я чуть-чуть приподымала жалюзи и тут же со смехом их опускала, скрываясь в глубине комнаты, а они уезжали, твердя: «Целуем ручки Вашей Светлости» — или: «Бог видит, сколь вы жестоки».

Антония: Самое интересное ты, оказывается, приберегла на сегодня.

Нанна: И так все и шло, куда моя мудрая мать не решила, что настало время меня показать, устроив все так, будто это произошло случайно. Она велела мне надеть строгое лиловое платье без рукавов и обернуть волосы вокруг головы; если б тебе довелось взглянуть, ты бы поклялась, что это не волосы, а золотая пряжа.

Антония: А почему платье было без рукавов?

Нанна: Чтобы на виду были мои белые как снег руки. Умыв мне лицо какой-то очень сильной эссенцией, после которой нет нужды ни в каких притираниях, она велела мне показаться в окне в самый разгар парада моих поклонников. Мое явление обрадовало их так, как явление Звезды обрадовало волхвов; побросав уздечки на шею коней, они упивались моею красотой, как узник упивается проникшим к нему в темницу солнечным лучом. С закинутой головой, устремленным на меня неподвижным взглядом они походили на тех странных зверей, которые питаются воздухом.

Антония: Ты хочешь сказать — на хамелеонов? <sup>102</sup>

Нанна: Да-да, именно. Они прямо-таки впитывали в себя мою красоту, как впитывают туман перья той птицы, что похожа на ястреба, но не ястреб.

Антония: Козодой?

Нанна: Да-да, козодой.

Антония: Ну, а что делала ты, покуда они тобой любовались?

Нанна: Я напустила на лицо выражение монашеского целомудрия, но смотрела на них при этом уверенным взглядом замужней матроны, а жесты, которые я делала, были теми, которые обычно делают девки.

Антония: Неплохо!

Нанна: Я красовалась в окне минут двадцать, потом, в самый разгар шушуканья, рядом со мной появилась мать, словно говоря: «Это моя дочь», и увела меня за собой. Проглотившие крючок дыхатели задергались, как дергаются выброшенные на песок карпы и уклейки. И когда наступила ночь, я услышала, как в дверь постучались: «Тук-тук-тук». Вниз пошла хозяйка, а мать — следом за ней, чтобы подслушать, что скажет ей посетитель. И она услышала, как человек, с ног до головы закутанный в плащ, спросил хозяйку: «Кто она такая, эта девушка, которая нынче показалась в окне?» Хозяйка ответила: «Это дочь знатной чужестранки; как я поняла, мужа синьоры убили

во время местной междоусобицы, и бедняжка вынуждена была бежать, захватив с собой то немногое, что успела спасти». Все это наплела ей моя мать.

Антония: Замечательно придумано.

Нанна: Услышав это, человек в плаще сказал: «Как бы мне поговорить с этой синьорой?» — «Никак, — отвечает хозяйка, — она не желает ни с кем разговаривать». Потом он поинтересовался, девица ли я, и она ответила: «Девица, да еще какая, всем девственницам девственница, только и знает, что без конца пережевывает „Ave Maria“». — «Тот, кто пережевывает „Ave Maria“, непременно выплюнет „Pater noster“»<sup>103</sup>, — ответил тот и попытался было безо всяких церемоний подняться наверх, но это ему не удалось, хозяйка его не пустила. Тогда мой поклонник сказал: «Сделай мне по крайней мере одну милость: скажи синьоре, что если она согласится меня выслушать, она получит такой подарок, что будет благословлять тебя за него до конца своих дней». Хозяйка пообещала, что так и делает, распрощалась с ним и, поднявшись наверх, сразу же постучалась к нам. «Кому как не пьянице знать толк в вине, — сказала она. — Эти гончие псы сразу учуяли перепелочку, вашу дочь. Один из них сейчас явился ко мне собственной персоной и попросил, чтобы я уговорила вас его выслушать». — «Нет-нет, — отвечает мать. — Ни за что». А хозяйка (язычок у нее был довольно острый) говорит ей: «Первый признак умной женщины — это умение воспользоваться случаем, который посылает ей Господь Бог. Этот человек мог бы вас озолотить. Подумайте». С этими словами она ушла, а на другой день за хорошо накрытым столом снова завела ту же песню, и в конце концов советчица, пекущаяся, конечно, о собственном благе, добилась того, что мать согласилась выполнить ее просьбу. Она сказала, что выслушает ее знакомого, который, по-видимому, полагал, что, заполучив меня в постель, первым вскрыет тюк с драгоценной французской шерстью. Его позвали и после множества клятв и заверений позволили внести задаток в счет стоимости моей девственности, за которую он посулил нам золотые горы.

Антония: Замечательно!

Нанна: Короче говоря, наступил назначенный вечер. После ужина, который был роскошнее всякого пира (правда, я едва проглотила, не разжимая губ, два кусочка да осушила за двадцать глотков полстакана разбавленного вина), меня без лишних слов препроводили в комнату хозяйки, которую за один дукат наняли на эту ночь. Едва мы вошли, он сразу же захлопнул дверь, сказав, что разденется без посторонней помощи. Он сделал это во мгновение ока и, улегшись в постель, принялся меня улещивать: «Я сделаю для тебя то, я сделаю для тебя это, тебе будут завидовать первые куртизанки Рима!» И, не в силах больше терпеть мою медлительность, он вскочил с постели и сам, несмотря на мои протесты, стащил с меня чулки; потом снова лег и, покуда я раздевалась и укладывалась, лежал, отвернувшись к стене, чтобы я не стеснялась, представ перед ним в одной сорочке. Я погасила свет (хотя он и кричал «Не надо, не надо!») и улеглась, и как только я оказалась рядом, он накинулся на меня с такой же страстью, с какой мать кидается к сыну, которого она считала умершим; так он меня целовал, так страстно сжимал в объятиях. Но стоило ему дотронуться до моей арфы (которая была очень хорошо настроена), как я принялась биться и вырываться, показывая, как мне это неприятно; тем не менее я позволила ему дотронуться до устья, но когда он захотел воткнуть в щель свое веретено, я не дала ему этого сделать. «Душенька моя, — твердил он, — радость моя, ты только не дергайся, можешь меня убить, если я тебе хоть чуть-чуть сделаю больно». Я упорствую, он продолжает упрашивать, сопровождая мольбы ударами своего копья, но все мимо и мимо, так что в конце концов он пришел в полное изнеможение. Сунув мне в руку свой инструмент, он сказал: «Сделай все сама, я даже не пошевелинусь», — а я, чуть не плача, ему отвечаю: «Да что же это такое — такое огромное? Неужто у всех мужчин он такой большой? Ведь вы меня просто разорвете!» Пока я все это говорила, он кончил прямо мне в руку и так расстроился, что

мольбы сменились угрозами, да еще какими. «Я разорву тебя в клочья, я утоплю тебя в твоей собственной крови!» — заорал он, схватив меня за горло, и попытался даже сдавить его, правда легонько. Потом снова принялся меня умолять, и я улеглась так, как ему хотелось. Но в тот момент, когда он уже собирался сунуть в печь свою кочергу, я снова его оттолкнула. Он вскочил, схватил рубашку, чтобы одеться и уйти, но я его удержала, закричав: «Ладно, ладно, ложитесь, я сделаю все, что вы хотите». От этих слов гнев его сразу прошел. Совершенно счастливый, он бросился меня целовать, приговаривая: «Ну чего, чего ты боишься? Это все равно что комариный укус, сама увидишь, уж я позабочусь, чтоб так это и было, сделаю все осторожно-осторожно». Но, позволив ему ввести свой инструмент на треть, я снова его вытолкнула, и тогда, устроившись на краю постели, скорчившись и скрестив бедра, он с помощью собственной руки утолил страсть, которую хотел утолить со мной, оставив в ладони то, что должно было достаться мне. Потом встал, оделся и начал расхаживать по комнате и так и расхаживал, покуда ночь, которую он, подобно ястребу, провел без сна, не прошла совсем, оставив на его лице горькую мину игрока, проигравшего все свои деньги. Осыпав меня проклятиями, которые обращает обычно мужчина к отвергнувшей его даме, он отворил окно и, облокотившись на подоконник, подпершись рукой, устремил взгляд на Тибр: казалось, даже Тибр смеется над его инструментом, которому пришлось всю ночь крутиться вхолостую. Покуда он предавался размышлениям, я заснула, но когда открыла глаза и попыталась встать, он снова на меня набросился. Думаю, ни один чернокнижник не призывал себе на помощь столько духов, сколько призывал он, но все было попусту — вот так же пусты бывают надежды людей, изгнанных из своего города. И даже когда он попросил у меня всего-навсего поцелуя, я и в том ему отказала, а потом крикнула мать, так как услышала, что она уже разговаривает с хозяйкой. Увидев ее, он сказал: «Что это за жульнические проделки? Мы все-таки не в Бакка-

но!»<sup>104</sup> — и начал на нее кричать, а хозяйка тем временем попыталась его утешить: «Это хуже нет — иметь дело с девственницами». Оставив их препираться, я отправилась в свою комнату. Бедняга между тем продолжал упорствовать; так упорствует игрок, желая во что бы то ни стало отыграть потерянные деньги. Он ушел, а спустя полчаса ко мне со штукой зеленого персидского шелка явился портной, который снял с меня мерку, скроил и сшил платье. Горемыка! Видно, он думал, что после этого ближайшей ночью ему удастся настоять на своем. Подарок я приняла, но в остальном положила на наставления матери, которая сказала: «Распалился он не на шутку. Теперь, главное, будь твердой, и он либо лопнет с досады, либо наймет для тебя дом со всею обстановкой». Но я и без нее знала, как надо себя вести. Когда я выглянула из окошка и увидела, что он идет, я со словами «А вот и он!» выбежала на лестницу ему навстречу. «Одному Богу известно, — воскликнула я, — как мне было больно оттого, что давеча вы ушли, даже не попрощавшись». Как я рада, что вы вернулись. Пусть я умру, но уж сегодня ночью я сделаю все, как вы хотите». Он рот разинул от изумления, а потом бросился меня целовать, и покуда по его поручению ходили за ужином, мы с ним были как два голубочка. Я видела, что время до вечера тянется для него так, как тянется оно для человека, который десять лет ждал назначенного свиданья. Когда наконец стемнело, мы поужинали и вернулись в ту же постель, где провели прошлую ночь. И тут он увидел, что я с ним любезна примерно так, как бывает любезен жид с человеком, попросившим у него денег без заклада. Он не удержался и ударил меня, а я, хотя и молча это снесла, подумала: «Это тебе дорого обойдется». Как и прошлой ночью, ему пришлось самому поработать со своим инструментом. Но потом он встал, отправился в комнату, где спали мать и хозяйка, и четыре часа подряд грозил нам всякими карами. Наконец мать сказала: «Дорогой мессир, положитесь на меня. Следующей ночью я ее просто убью, если она вам откажет». Она поднялась на-

верх, принесла оттуда длинный ремень из тафты и сказала: «Вот, держите, этим вы свяжете её руки». Дурачок схватил ремень и, снова потратившись на завтрак и на ужин, улегся со мною в третий раз. Увидев, что я, как и раньше, не даю до себя даже дотронуться, он пришел в такую ярость, что чуть не всадил в меня кинжал, совершенно всерьез. С трудом отбившись, я повернулась к нему задом, и он, притиснув его к своему паху, еще больше распалился и принялся меня тискать. Покуда он меня тискал, я лежала спокойно, но когда почувствовала, что наглец вот-вот просунет свой клюв в дупло, сказала: «Пожалуй, пора просыпаться» — и повернулась к нему лицом. Тут он заставил меня лечь на спину, сам взобрался сверху, но когда дело было наполовину сделано, я завопила: «Ой! Ой!» Тогда он, не меняя позы, протянул руку под подушку, вытащил спрятанный там кошелек, вынул из него десять дукатов и уж не знаю сколько юлиев и вложил их мне в ладонь со словами: «Держи». Закричав: «Не нужно мне ваших денег», я сжала кулак, а он так и застрял на половине пути и, не в силах продвинуться дальше, тут же и кончил.

Антония: А почему он не связал тебя ремнем?

Нанна: Разве может связать кого-нибудь тот, кто сам связан?

Антония: Святая правда.

Нанна: И еще четыре раза, прежде чем мы встали, его конь останавливался, земную жизнь пройдя до половины<sup>105</sup>.

Антония: Как сказал Петрарка.

Нанна: Скорее, Данте.

Антония: А разве не Петрарка?

Нанна: Данте, Данте. Но он был и этим доволен и поднялся с постели счастливый. Встала и я вместе с ним. Он не мог остаться и разделить со мной завтрак, но распорядился о том, чтобы мне его доставили; сам же явился вечером, к ужину, за который тоже заплатил.

Антония: Постой, а он что, не заметил, что у тебя не было крови?

Нанна: Представь себе! Эти развратники воображают, что как никто знают толк в девственницах и мученицах, но это не помешало ему принять за кровь мочу. Им главное, чтобы что-то потекло — и баста! Только на четвертую ночь я позволила ему дойти до конца, и, почувствовав это, мой brave кавалер потерял сознание прямо на мне. Утром пришла мать и, застав нас в постели, с улыбкой приветствовала Его Светлость, а мне дала свое благословение. И покуда я осыпала его всеми ласками, какие только были мне известны, мать сказала: «Ваша светлость, завтра мы должны покинуть Рим. Я получила весточку из родных краев и хочу вернуться домой, чтобы умереть среди своих. Рим — это город для баловней судьбы, в нем нет места неудачникам. Разумеется, я бы не уехала, если б сумела продать наши уголья и купить здесь хотя бы маленький домик. Я уже думала снять, но деньги все не приходят, а я не из тех, кто может жить в чужих стенах. Тут я ее прервала. «Матушка, — сказала я, — я не проживу и двух дней, если мне придется расстаться с моим любимым». С этими словами я его поцеловала да еще выдавила из глаз две слезинки. И что же я вижу? Он вдруг садится на постели и заявляет: «Что же, я, ядри твою мать, не могу нанять для вас дом и обставить его как подобает?» Приказав подать одежду, он начал одеваться с поспешностью человека, которого ожидает срочное дело. Он буквально выскочил из дома, а к вечеру вернулся с ключами и двумя носильщиками, которые были нагружены матрасами, одеялами и подушками. Еще двое тащили кровати и столы, и Бог знает сколько жидов толпилось позади с коврами, простынями, посудой, ведрами, кухонной утварью. Глядя на него, можно было подумать, что он переезжает на новую квартиру. Взяв с собой мать, он привел в порядок очень миленький домик на том берегу Тибра, потом вернулся за мной, заплатил хозяйке и уже поздно вечером погрузил наши вещи на повозку. Было уже темно, когда он привез меня в новый дом и еще там продолжал сорить деньгами. И, поверь мне, для своего положения делал это

весьма щедро. И хотя в том, прежнем окошке я показываться перестала, все очень быстро узнали, где я живу теперь, и вокруг меня по-прежнему вились тучи поклонников — так выются осы над кипящим чаном или пчелы над цветами. Приглядев себе одного среди своих вздыхателей, я с ним сошлась, прибегнув к помощи сводни. И так как он предоставил в мое распоряжение все, что имел, своего первого поклонника я бросила. А тот, занимавший в свое время направо и налево, покупавший для меня подарки в кредит, был признан неплатежеспособным, предан анафеме и повешен, как это было принято в Риме. В общем, я вела себя, как подобает девке, лишив его сначала состояния, а потом и любви. В первое время, видя перед собою запертую дверь, он меня укорял, напоминая о том, что для меня сделал, а потом просто уходил не солоно хлебавши или, точнее сказать, «с задранным хвостом», как то привидение из новеллы Боккаччо<sup>106</sup>. В конце концов я перешла в разряд женщин, готовых принадлежать всякому, кто принесет им *conquibus*<sup>107</sup>, как говорил Гоннелла<sup>108</sup>, и наняв большой дом с двумя служанками, зажила как синьора. И не думай, что я изучала ремесло блядства, как те школяры, что начинают ученье мессирами, а возвращаются домой сирами<sup>109</sup> семь лет спустя. Все, что надо знать о науке страсти и обольщения, я изучила за три, нет, за два, нет, даже за один месяц. Я узнала, как войти в доверие, как разжечь страсть, как обобратить, как бросить, как плакать, смеяься, и как смеяться, плача, об этом я еще скажу в свое время. Я продавала свою девственность множество раз, как продают попы свою первую мессу, развешивая в каждом новом городе объявления о том, что они будут служить ее впервые<sup>110</sup>. Я расскажу тебе лишь о малой части проделок, которые точнее было бы назвать надувательством, о тех, что придумала сама; но если ты умеешь считать, то можешь себе представить, сколько их существует вообще.

Антония: Я не мастер считать и ничего не могу представить. Просто я верю каждому твоему слову, как верую во времена года и в четыре Поста, а если

честно сказать, тебе я верю даже больше, раза в три больше.

Нанна: Был у меня среди прочих один поклонник, много для меня сделавший и которому я должна была бы платить любезностью, но ведь для девок не существует ни любезности, ни нелюбезности. Девка, она как жук-древоточец — любит того, у кого есть что погрызть, а когда грызть больше нечего, только вы ее и видели! Если б ты знала, что я вытворяла с этим поклонником, особенно когда он уже не мог осыпать меня деньгами, как раньше, хотя и продолжал тратить-ся. Я спала с ним по пятницам и за ужином всегда ссорилась.

Антония: Зачем?

Нанна: Чтобы испортить ему аппетит.

Антония: Какая жестокость!

Нанна: Подумаешь! Так вот, умяв все, что было подано к ужину, я не торопилась отправляться в постель и засиживалась за столом до семи-восьми часов\*. А когда наконец ложилась и разрешала ему полакомиться, вела себя до того грубо, что он с проклятиями с меня слезал и кричал, что ничего не хочет. Однако страсть брала свое, и, не дождавшись от меня ласк, которых ему так хотелось, он снова ложился. Видя, что я, как и прежде, совершенно неподвижна, он начинал меня трясти, со слезами на глазах выкрикивал ругательства, но я позволяла себя оседлать только после того, как он отдавал мне все деньги, какие у него с собой были.

Антония: Ну, ты была хуже Нерона!

Нанна: Что же касается чужестранцев, которые приезжали в Рим дней на восемь, на десять, а потом должны были уехать, то с ними я вытворяла такое, за что иные попадают на виселицу. Я держала при себе несколько головорезов, которым один раз на сто давала даром и которые были нужны мне на случай, если на кого-то надо было нагнать страху. Обычно тех, кто приезжает в Рим, после античного начинает

---

\* То есть до часу и двух часов ночи.

тянуть на неприличное, и они ищут дам, на которых можно было бы потратить деньги. Начинали они всегда с меня, и тот, кто проводил со мной ночь, уходил утром, оставив у меня все свои вещи.

Антония: Какие, черт побери, вещи?

Нанна: Свои. И сейчас я тебе объясню, как это делалось. Утром в комнату входила служанка и забирала одежду моего кавалера, якобы для того, чтобы почистить. Потом она прятала ее в укромном месте, а сама поднимала крик, что ее обокрали. Мой дорогой гость вскакивал с постели в одной рубашке, требуя свои вещи и угрожая в противном случае взломать все мои сундуки и забрать все, что там было. А я начинала кричать: «Ах, вот как! Ты будешь взламывать мои сундуки! Мне придется терпеть насилие в собственном доме? Ты мне угрожаешь? Ты называешь меня воровкой?» Услышав шум, мои головорезы, которые до этого прятались внизу, взбегали наверх с обнаженными шпагами и, спросив: «В чем дело, госпожа?», хватали за грудки синьора, который вот так, в одной рубашке, был похож на человека, собравшегося идти исполнять какой-то обет. Он тут же начинал просить у меня прощения, я позволяла ему послать к какому-нибудь приятелю за штанами, колетом, камзол, плащом и шляпой, и он уходил, считая, что дешево отделался.

Антония: И никаких у тебя не было угрызений?

Нанна: Никаких, потому что нет такого злодейства, предательства или обмана, на которые девка не решилась бы пойти. Когда о моих проделках разнесся слух, чужестранцы почти перестали ко мне приходить, а те, что приходили, — раздевшись, отдавали одежду слуге. Тот уносил ее к нему на квартиру, а утром возвращался, чтобы одеть своего господина. И все-таки они хоть что-нибудь у меня да забывали: перчатки, пояс, ночной колпак — девка ничем не брезгует, девке все пригодится: зубочистка, тесемочка, орешек, горчичное зернышко, хвостик от груши.

Антония: Все это так, и все же, как девки ни лов-

чат, кончают они нищими как церковные крысы, да еще французская болезнь частенько мстит им за всех, кого они обманули. Забавно видеть, как те из них, что уже не могут скрыть своей старости за притираниями, белилами, духами, роскошными нарядами, огромными веерами, распродают свои украшения и ступают на ту дорогу, которую им суждено пройти в четыре этапа: так, в четыре этапа, проходят свой путь юнцы, которые учатся на священников.

Нанна: Что ты имеешь в виду?

Антония: Начинают девки с того, что, накупив на деньги, полученные от украшений, побольше кроватей, пускают жильцов. Потом, когда гостиничное дело прогорает, переходят к Посланию, то есть становятся сводницами, потом к Евангелию, то есть берут белье в стирку, ну, а в заключение распевают молитвы в церкви Сан Рокко, Пополо, Паче, Санто Янни, Консоляционе, на лестнице у Святого Петра, все как одна меченные тою печатью, какой метит своих кобыл святой Иов<sup>111</sup>, а иногда еще и шрамами: это память о тех, кто не смог вынести их плутней и подлостей. Именно пускаясь на плутни и подлости, они и теряют обычно все, включая обезьянок, попугаев и карлиц, рядом с которыми они чувствовали себя королевами.

Нанна: Ну, я была не из таких, не надо быть душой, иначе придется пенять на себя. Нужно знать свое место и не корчить из себя королеву, отворяя дверь одним только монсиньорам и знатным господам. Самые высокие горы складываются из маленьких камушков постепенно. Не верь тому, кто будет тебя уверять, что один бык наложит столько же, сколько миллион мух. Мух больше, чем быков, и на одного знатного господина, который принесет тебе богатый подарок, придется двадцать таких же знатных, которые кормят тебя обещаниями, и тысячи простых, совсем незнатных, которые и набивают твои карманы. Та, что желает иметь дело только с бархатными камзолами, просто дура, потому что больше всего дукатов в суконных. Уж мне ли не знать, что лучше всех платят трактирщики, продавцы птицы, разносчики воды, посыльные и жида. Что

касается жидов, их вообще следовало бы поставить во главе списка, потому что тратят они еще больше, чем воруют.

Антония: Ну и как ты это объясняешь?

Нанна: Да дело в том, что роскошные камзолы чаще всего бывают подбиты просроченными долгами. Эти знатные господа, они как улитки, которые все свое достояние носят на себе. За душой у них ни гроша, а если вдруг что-то и появляется, они лучше потратятся на масло, которым умащают бороду и волосы. На одну пару новых башмаков у них сотня рваных, и я всегда смеюсь, когда вижу, как бархат на их камзолах постепенно превращается в шелк.

Антония: Ты привыкла иметь дело с сегодняшними скупердяями, в мое время они были другие, потому что другими были их покровители. Но вернемся к твоему рассказу.

Нанна: Так вот, один господин, который знал, какова я с клиентами, сказал однажды: «А вот я уложу ее в постель, не заплатив ни копейки». Явившись ко мне, в каких только он не рассыпался любезностях: занимал разговором, бесконечно меня восхвалял, всячески старался услужить. Если я вдруг роняла какую-то вещь, он подхватывал ее своей шляпой, целовал и протягивал мне с таким изысканным поклоном, что ты не можешь себе и вообразить! Настал день, когда среди обычной болтовни он вдруг сказал: «Ах, моя госпожа, мне бы только заслужить вашу милость, а потом — хоть умереть». — «Пожалуйста, — говорю я, — о чем вы просите?» А он отвечает: «Молю вас провести эту ночь со мною, я мечтаю, чтобы вы хозяйкой вошли в мою комнату, которая, надеюсь, вам понравится». Я сказала ему, что приду, но только после ужина, так как ужин обещала одному своему другу, и он еще больше обрадовался, представив себе, как будет потом хвататься, что не заплатил даже за ужин. В назначенный час я пришла к нему и спала с ним, а потом до зари дожидалась, пока он уснет. Когда он захрапел, я надела его рубашку, так как уже месяц восхищалась ее золотым шитьем, а ему оставила свою. Потом за мною

зашла моя служанка, и мы вышли. Увидев в углу прихожей приготовленный для прачки сверток с батистовым бельем, я подхватила и его, служанка водрузила сверток на голову, и мы вернулись домой и с бельем, и с рубашкой. А теперь представь себе, что он должен был сказать, когда проснулся.

Антония: Да уж, ему не позавидуешь!

Нанна: Поднявшись и увидев мою штопаную-перештопаную рубашку, он сначала подумал, что я перепутала, но когда обнаружил еще и пропажу белья, подал на меня жалобу в Кorte Савелла<sup>112</sup>, откуда был с позором выгнан. Вот так я выставила на смех того, кто хотел выставить на смех меня.

Антония: Так ему и надо.

Нанна: А теперь послушай такую историю. Среди моих поклонников был один купец, добрая душа, который не просто меня любил, а обожал. Он меня содержал, и я, разумеется, оказывала ему все знаки внимания, хотя и не была в него влюблена. Если ты от кого-нибудь услышишь, что, мол, куртизанка такая-то сохнет по такому-то, смело говори, что это неправда. Конечно, бывает, что нам несколько раз подряд захочется поклевать из особенно пышного снопа, но это не больше, чем каприз, он так же быстротечен, как солнце зимой или дождик летом. Невозможно, чтобы женщина, которая принадлежит всем, полюбила кого-то одного.

Антония: Это-то я знаю.

Нанна: Так вот, этот купец время от времени со мной спал, и я, чтобы он больше меня ценил, решила его разгорячить, заставив приревновать. Тем более что он всегда говорил, будто вовсе не ревнив. И что же я сделала? Я купила две пары перепелок и одного фазана, отдала их одному посыльному, которого мой купец не знал, а посыльный этот был сущий мошенник. Мы договорились, что он постучит в мою дверь в час ужина, когда купец будет у меня. «Отвори!» — велела я служанке, посыльный поднялся наверх и, сказав: «Доброго здоровья вашим сиятельствам», добавил: «Испанский посол просит Вашу Светлость сделать ему честь и отведать даров, что он с любовью вам посы-

лает. И еще он хотел бы перемолвиться с вами словечком, когда вам это будет угодно». Я выталкиваю его из комнаты и кричу: «Какой еще посол? Немедленно уноси все прочь, я не желаю никакого другого посла, кроме вот этого, который относится ко мне лучше, чем я заслуживаю». Тут я целую своего простофилю и, обернувшись к посыльному, грожу ему всякими карами, если он сейчас же не уберется прочь. Но здесь вмешался мой купец. «Да бери, бери все, дура, — сказал он, — все, что дают, надо брать». А потом обратился к посыльному: «Так и быть, она из любезности всего этого отведает». Потом он немного посмеялся (правда, смех был какой-то невеселый), а потом задумался. Я встряхнула его и спросила, о чем он печалится, если не то что посол — сам император никогда не дождется от меня поцелуя! «Ваши башмаки мне дороже тысячи дукатов». Он от души меня поблагодарил и ушел по своим делам. Я же тем временем позвала своих головорезов, приказала им прийти к четырем \*, потому что в четыре мы обычно ужинали, и отобрала среди них одного, настоящего бандита, но очень представительного. Он и постучал в мою дверь, а потом, с факелом в руке, в сопровождении банды головорезов в масках, поднялся наверх и отвесил мне поклон в самом что ни на есть испанском духе. «Госпожа, — сказал он, — сейчас сюда прибудет господин посол, чтобы выразить свое почтение вашей милости». А я отвечаю: «Пусть твой посол меня извинит, но у меня уже есть свой посол, мой хозяин, которого ты видишь перед собой». И с этими словами я кладу руку на плечо своему кавалеру. Парень вышел, но вскоре снова постучал в дверь, и так как я не пожелала ему отпереть, крикнул нам снизу: «Если вы не откроете, мой господин вышибет дверь». Я бросаюсь к окну и кричу: «Твой господин может сделать со мной все, что хочет, — убить, сжечь, уничтожить, но люблю я только одного, вот этого. Это благодаря ему я живу сейчас

---

\* К десяти часам вечера.

так, как живу, и если будет нужно, я готова за него умереть». Тут в дверь начинают ломиться ряженные, и хотя их всего пятеро, кажется, что внизу не меньше тысячи. Один из них угрожающим тоном говорит: «Ах ты, viegia<sup>113</sup> шлюха, ты еще пожалеешь, а с того сопляка, что чешет тебе спинку, клянусь Dios<sup>114</sup>, мы просто спустим шкуру». — «Воля ваша, — отвечаю я, — но не пристало настоящему синьору добиваться своего силой». Я хотела еще что-то добавить, но мой дурачок дернул меня за подол и сказал: «Хватит, хватит, если ты не хочешь, чтобы эти испанцы действительно меня располосовали». Он оттащил меня от окна и поблагодарил за все, что я сказала. Так выпущенные из тюрьмы на праздник Феррагосто благодарят жителей тех кварталов, которые о них хлопотали. Утром он подарил мне роскошное платье из оранжевого шелка, а сам перестал показываться на улице после «Ave Maria». Ни за какие посулы он не высунулся бы из дому в это время — так напугали его испанцы. Он боялся, что польская сабля рассекает ему лицо буквой «Х». Но зато теперь он восклицал по всякому поводу: «Ну, с моей-то можно не бояться никаких послов!»

Антония: А почему?

Нанна: А я сказала ему, что еще в январе загнала под лестницу десять человек и продержала их там до утра. И еще клялась, что как-то ночью («этой ночью ты был у меня») одного бандита я заперла в погребе, а другому пришлось сторожить во дворе колодец. Уж как он был доволен! А для того чтобы у меня не появилось желания сделаться посольшей, он удвоил свои приношения и всякий раз повторял: «Ты это заслужила, и довольно об этом».

Антония: Ну и хитра же ты!

Нанна: А вот тебе еще одна моя проделка. Мне частенько приходилось спать с одним воякой, знаешь, из тех фанфаронов, которые только и умеют, что трясти перьями на шляпе. Когда ему про меня сказали: «А вот с этой держи ухо остро!», он ответил: «Да я и в Сиене служил, и в Генуе, и в Пьяченце, а кошелек

свой сохранил в целости. Нет, мои деньги не для шлюх, клянусь Богом, не для шлюх». И вот однажды я заметила у хвастуна в кошельке десять скудо. Я могла бы вытащить их тою же ночью, но поступила иначе, и сейчас ты узнаешь как. Однажды он явился ко мне опечаленный, так как я намекнула ему, что увлечена другим. Увидев его настроение, я подхожу, запускаю ему пальцы в бороду и, нежно ее подергивая, говорю: «Ну-ка, ну-ка, скажи мне, кто твоя милая?» Потом сажусь к нему на колени, обнимаю за шею и, раздвигая ему бедра коленом, чувствую, как он оживает. Потом я его целую, и он отвечает: «Ну ты, ты». И вздыхает так глубоко, что мне показалось, будто это ветер пронесся. Я продолжаю обнимать его и ласкать, да так умело, что он окончательно приходит в себя. И только я сказала: «Оставайся сегодня на ночь», как в дверь постучали — то был человек, с которым я заранее сговорилась. Служанка выглянула в окно и сказала: «Госпожа, это мастер пришел». — «Вели ему подняться», — ответила я, тот поднялся и попросил вернуть ему десять скудо, которые я ему должна за балдахин, и сделать это побыстрее, потому что у него нет времени ждать. «Возьми этот ключ, — сказала я служанке, — и выдай ему десять скудо из денег, что лежат в сундуке». Она убегает, а я остаюсь и продолжаю гладить по шерстке своего котика, полагающего, что никому не удастся его провести. И все время, пока я его завлекала и наконец завлекла, мастер не переставал меня торопить. Я уже несколько раз крикнула служанке: «Поторопись, дуреха», но она в ответ только что-то бормотала. Тогда я сама туда пошла и увидела, что она корпит над замком, который не хочет открываться. Дело в том, что точно так же, как пришедший ко мне мастер вовсе не был мастером, так и ключ был совсем не от этого замка. Но я сделала вид, что это служанка его сломала, и устроила ей выволочку, больше, правда, крича, чем пуская в ход кулаки. После этого я сказала, что взломаю замок, но никак не могла найти молотка. И вот тут-то я обращаюсь к своему хитрецу и говорю ему: «Пожалуй-

ста, если у вас найдется десять скудо, отдайте ему, а я сейчас либо взломаю замок, либо просто расколочу сундук, и вы тут же получите свои деньги обратно».

Антония: В серьезные минуты ты переходила с ним на «вы», ха-ха-ха!

Нанна: Он открывает кошелек, швыряет деньги мастеру и говорит: «Бери и ступай с Богом». Но когда я снова принялась за сундук, он сказал: «Пошли лучше за слесарем, пусть он откроет, ведь нет никакой спешки», обращаясь ко мне на «ты», словно после того, как он одолжил мне деньги, я перешла в его полное распоряжение.

Антония: Вот скотина!

Нанна: Бросив сундук, я отправилась со своим хитрецом в постель, твердо решив, что на этот раз он у меня не полакомится. И в самом деле, едва он меня обнял, как в дверь громко постучали. Я только этого и ждала и тут же вскочила, хотя он и удерживал меня, умоляя не уходить и не узнавать, кто это там пришел. Но я посмотрела сквозь щелку жалюзи и увидела у дверей молоденького монашка в плаще и шляпе верхом на муле. Он окликнул меня, я сбежала вниз, накинув плащ его слуги на мужской наряд, в котором всегда ходила дома, тоже села на мула впереди него, и мы уехали. Ну, а хитрец, привыкший вербовать шлюх даром, разорвал со зла мой портрет, который висел в комнате, и отбыл, как отбывает проигравший из компании шулеров. Да, я забыла сказать, что он еще попытался взломать замок, чтобы забрать деньги, но тут высунулась в окно служанка, стала звать на помощь, отовсюду начали сбегаться люди, и ему пришлось уйти. Так он и ушел не солоно хлебавши, потому что в сундуке, который он все-таки взломал, не было ничего, кроме мазей и притираний на случай той самой болезни. Знаешь, Антония, повествуя тебе о своих приключениях, я чувствую себя как грешница, которая пришла исповедаться во всех своих грехах, но, оказавшись перед священником, тут же половину забыла.

**Антония:** Расскажи, что помнишь, а я уж представлю себе остальное.

**Нанна:** Ну, хорошо. Один болван, который превратил свое единственное достояние, виноградник, в сто дукатов и спрятал деньги в сундук, вбил себе в голову, что хочет на мне жениться; я узнала об этом от своего цирюльника. Прослышав о наличных, которые он раздобыл таким способом, я стала его привечать, надеясь, что, заполучив меня, он купит мне дом. Щедро осыпая его ласками, я добилаь того, что на эти свои дукаты он в течение месяца купил мне все, что было нужно для спальни, для кухни, вообще для дома. Дав ему всего раз или два, я стала искать повода для ссоры, называя его тупицей, болваном, бездельником, негодяем, скрягой, чучелом, недоумком, и однажды просто захлопнула дверь у него перед носом. Поняв, какого он сваял дурака, бедняга подался в монахи. Вот была радость!

**Антония:** Почему радость?

**Нанна:** Потому что это всегда к пушей славе девки, если она сумела довести мужчину до отчаяния, разорения или безумия.

**Антония:** Вот уж что не для меня, так не для меня.

**Нанна:** А сколько денег я сумела добыть простым надувательством! Обычно к ужину у меня собиралось много народу, и когда с трапезой бывало покончено, я выкладывала на стол карты и говорила: «Ну что, сыграем? На конфеты, идет? На два юлия? Платит тот, кому выпадет... ну, хоть король кубков»<sup>115</sup>. Проигравшись и купив мне конфет, мои гости, которых при виде карт невозможно было удержать от игры, как невозможно удержать девку от распутства, выкладывали деньги и начинали играть всерьез. В этот момент в компании появлялись два шулера самого простодушного вида и, немного поломавшись, тоже вступали в игру, пуская в ход карты, которые были фальшивее мирандольских дублонов<sup>116</sup>. Постепенно и незаметно они вытягивали из моих гостей все, что у них было,

тем более что я еще подсказывала, какие карты у них на руках, словно мне было мало, что они фальшивые!

Антония: Хорошенькие у тебя были шуточки!

Нанна: А еще за пару дукатов я сообщала кому-нибудь из своих поклонников, что злейший его враг придет ко мне за два часа до рассвета, совершенно один. Тот подкарауливал беднягу и отправлял его к праотцам.

Антония: Да, такой укус побольнее, чем у осы. Но объясни, почему этот несчастный должен был прийти к тебе именно за два часа до рассвета.

Нанна: Потому что как раз в этот час от меня уходил другой, который не мог оставаться дольше. Уж не думаешь ли ты, что если я соглашалась переспать с каким-нибудь обожателем, то только он один меня и скоблил? Да я тыщу раз под предлогом расстройства желудка бросала в постели какого-нибудь купца, а сама бежала ублажить еще двоих, заранее укрывшихся в доме. А летом я бросала их под предлогом жары: встав с постели в одной рубашке и походив немного по залу, я высывалась в окошко и разговаривала с луной, звездами и небом, а в это время ко мне сзади успевали пристроиться по крайней мере двое.

Антония: Да, я вижу, ты своего не упускала.

Нанна: Именно. А теперь угостись-ка вот такой историей. Был у меня десяток приятелей, из которых я выжала все, что могла, и, понимая, что больше мне тут поживиться нечем, решила просто подчистую их разорить.

Антония: И что же ты придумала?

Нанна: А вот что. Время от времени я позволяла лакомиться моими яблочками и мять мою куничку одному аптекарю и одному врачу, которым я полностью доверяла. И вот однажды я им сказала: «Я притворюсь больной, а вылечить меня должны мои воздыхатели. Как только я улягусь в постель, вы, господин врач, объявите, что дела мои плохи, и выпишете самые дорогие лекарства. А ты, аптекарь, запишешь их

в свою книгу, но мне пошлешь совсем другие, любые, какие тебе вздумается.

Антония: Поняла. Таким образом ты хотела зацапать денежки, которые получают от твоих обожателей врач и аптекарь.

Нанна: Совершенно верно. Я едва удержалась от смеха, когда во время ужина с поклонниками сделала вид, что лишилась чувств, и уронила голову на стол. Испуганная мать (она знала о моей затее) расстегнула мне платье, с помощью всех присутствующих перенесла на кровать и принялась оплакивать меня уже как покойницу. Но тут я очнулась и, глубоко вздохнув, сказала: «О Боже, сердце...» В ответ все закричали: «Ничего страшного, это мозговые испарения!» — «Мне лучше знать, что у меня болит», — сказала я и снова лишилась чувств. После этого двое из них помчались за врачом. Тот пришел, взял мою руку двумя пальцами (казалось, что он трогает клапаны лютни), с помощью розовой эссенции привел меня в чувство и сказал: «Пульса почти нет». Когда он вышел, мои глупенькие Мы-Всему-Верим кинулись утешать мать, которая хотела выброситься из окна, а часть их столпилась вокруг доктора, который писал рецепты для аптекаря. Едва он кончил, как один из них собственноручно отнес их в аптеку и вернулся, нагруженный порошками и пузырьками. Врач объяснил, что нужно делать, и ушел, а мать не без труда разогнала всех гостей по домам, потому что им хотелось бодрствовать подле моей постели. Наутро все снова были тут. Пришел врач и, увидев, что ночь я пережила, приказал достать двадцать пять венецианских дукатов, которые нужны ему для перегонки какого-то чудодейственного снадобья. И нашелся дурачок, который дал эти деньги моей матери, не помышляя о том, какой опасности они подвергнутся при перегонке. Та проворно спрятала их под замок, и, как ни роптал потом недотепа, так он никогда их больше и не увидел. В общем, со всех этих сиропов, пластырей, клистиров, слабительных, монастырских ликеров, мазей, а также с гонораров врачу и платы за дрова и свечи

набежала неплохая сумма, в моих руках оказался кошелек, набитый деньгами.

Антония: А тебе не повредило то, что ты здоровая лежала в постели?

Нанна: Повредило бы, если б я лежала одна. Но одну ночь мне растирал спину врач, а другую — массажировал аптекарь. А по случаю моего выздоровления на нас дождем посыпались ошипанные каплины, рекой полились благородные вина. Не было прелата, который не нарушил бы ради меня девственную нетронутость своего винного погреба.

Антония: Ха-ха-ха!

Нанна: Один купец, я тебе о нем уже рассказывала, очень хотел от меня ребенка, хотя и не смел об этом заговорить. И вот, выбрав удобный момент, я стала притворяться, что меня мутит: меня корежило с утра и до вечера, и если мне удавалось проглотить три кусочка, четвертый я выплевывала со словами: «Какая горечь!» А потом еще делала вид, что меня рвет. Простак утешал меня и шептал: «О, если б была на то воля Божья» — и тут же умолкал. Я же в его отсутствие ела за четверых, а потому при нем настолько теряла аппетит, что не могла проглотить и маленького кусочка. После того как перед ним были разыграны головокружения, истерические приступы и колики, я пожаловалась, что в положенные дни не пришли мои женские дела, и в конце концов передала ему через мать, что беременна. Это подтвердил и врач, который был моим confidentом. И этот скупердяй, которому, можно сказать, даже с собственными какашками было жалко расставаться, ужасно обрадовался, тут же обзавелся кумом и кумой, нанял кормилицу, начал откармливать каплинов, запастись пеленками и распашонками. Боясь, как бы ребенок не родился меченым, он старался упредить мои желания<sup>117</sup> и тащил мне первую весеннюю дичь, первые весенние фрукты, первые цветы. Он не позволял мне даже руку ко рту поднести и кормил с ложечки и всякий раз, когда я вставала или садилась, бросался мне помочь. Мне

стало ужасно смешно, когда я увидела, как он заплакал после моих слов: «Если я умру родами, позаботься о нашем ребенке». Я составила завещание, в котором на случай своей смерти назначала его своим наследником. Он всем его показывал и приговаривал: «Почитайте вот тут... и еще тут... и теперь скажите: ну, разве я не прав, обожая эту женщину?» Продержав его некоторое время на этом вранье, в один прекрасный день я неловко упала и, желая ему показать, что у меня случился выкидыш, приказала отнести ему в тазу с теплой водой тельце еще не родившегося ягненка, как будто это и был плод. Увидев его, он зарыдал и потом все плакал и плакал; то был поистине великий плач; а когда мать сказала, что то был мальчик, к тому же похожий на него, он зарыдал еще горше. Он потратил Бог знает сколько денег на похороны и все сокрушался, что ребенка не успели окрестить.

Антония: А кто был отец Пиппы?

Нанна: Если объяснять применительно к Богу, то у Бога он был маркизом<sup>118</sup>, а мирское его имя я тебе назвать не могу. Поговорим о чем-нибудь другом.

Антония: Как тебе будет угодно.

Нанна: Как-то мне пришла фантазия научиться бренчать на лютне, не потому, что мне это нравилось, а потому, что мне хотелось казаться женщиной, которая интересуется искусством. Ведь это лучший капкан для ротозеев, если девка отличается еще и каким-нибудь артистическим даром. Это обходится им дороже, чем угоститься сливками или желе в какой-нибудь таверне. Девка, которая умеет петь да еще читает ноты с листа, — о, с такой надо держать ухо востро!

Антония: Чего только не сделаешь, чтобы облапошить ближнего!

Нанна: Среди своих товарок я прославилась тем, что умела извлечь выгоду из любого пустяка, не брезгуя подцепить своей удочкой даже грошик, как говорил Маргутте<sup>119</sup>. Никому не удавалось провести со мной ночь, не оставив в моем доме хоть какую-нибудь мелочь. И можешь мне поверить: ни сорочки, ни шля-

пы, ни башмаков, ни берета, ни шпаги, ни самой дешевой безделушки, если только они были забыты у меня дома, владельцы больше никогда не видели. Потому что всякая вещь — это добро, а всякое добро имеет свою ценность. Разносчики воды, торговцы дровами, продавцы масла, зеркал, кренделей, молока и творога, вареных и жареных каштанов, веретен и спичек — все были моими друзьями, и все стерегли меня под окнами, когда знали, что у меня гости.

Антония: И зачем же они тебя стерегли?

Нанна: А затем, что если мне нужна была какая-нибудь вещь, я высывалась за нею в окно, а когда покупала, платить приходилось гостям. Всякий, кто ко мне приходил, должен был быть готов истратить юлий, гроссо или байокко<sup>120</sup>. В комнате в любую минуту могла появиться служанка и заявить: «Не хватает тесемочек для чехлов на подушки», — и я, поцеловав первого попавшегося, приказывала: «Дайте ей один юлий». И если он этого не делал, он становился скрягой в глазах всех присутствующих. Вслед за служанкой входила мать, держа в руках штуку льняного полотна. «Если ты сейчас это упустишь, — говорила она, — то не скоро найдешь такое же за такую хорошую цену». Пару раз чмокнув другого, я приказывала ему заплатить. Когда эти поклонники уходили, приходили другие, но я посылала сказать, что занята, и соглашалась впустить только одного. Но зато уж его я так умела распалить огнем своих поцелуев, что он в тот же день присылал мне либо стеганое одеяло, либо ковер, либо картину — в общем, лучшее, что, по моим сведениям, было у него в доме. В благодарность за подарок я, не заставляя себя упрашивать, приглашала его провести ночь в моей постели. Он присылал замечательный ужин, но когда приходил, чтобы полакомиться им вместе со мной, я просила его немножко погулять и вернуться чуть позже. А когда он возвращался, служанка говорила: «Еще рано, погуляйте еще немного». Второй раз «немного погуляв», он снова стучался и, увидев, что никто не спешит ему отворять, подымал крик: «Ах ты, грязная девка, ах ты, свинья!»

Клянусь Христом Богом, я тебе отплачу». А я в это время ужинала за его счет с другим и только посмеивалась: «Кричи-кричи, пока не лопнешь».

Антония: Если это был порядочный синьор, неужто он тебе такое прощал?

Нанна: Ну, дня два он обычно дулся. Потом, не в силах унять своего жеребчика, присылал сказать, что хочет перемолвиться со мной словечком. Да хоть сотней словечек! Дверь отворялась, он насупленный входил и начинал: «Я никогда бы не поверил...» Но я тут же перебивала: «Душа моя, если тебе непременно хочется верить, то верь мне. Я никого так не люблю, как тебя; если б ты знал, из-за чего мне в тот вечер пришлось уйти из дому, ты бы меня еще похвалил. Если даже в тебе я не могу быть уверена, на кого же мне положиться?» Он с легкостью покупался на мою историю — в тот вечер мне надо было пойти к адвокату, судье, чиновнику в связи с каким-то судебным процессом. После этого я бросалась ему на грудь, а он, высадив свою лилию в мою грядку, не только забывал всякую досаду — он ног под собой не чуял от счастья, и, когда он от меня уходил, мы были уже не разлей вода.

Антония: Из тебя вышла бы хорошая школьная учительница.

Нанна: Благодарю.

Антония: Себя благодари.

Нанна: Нет, тебя, за доброе слово. А теперь послушай, как мне однажды удалось стать чуть ли не богачкой. Один мой поклонник, который пожелал получить меня в свое распоряжение на два месяца, надумил меня распустить слух о том, что я ухожу в монастырь. Я послала за жидом и, к большому огорчению моей свиты, распродала все, что было в доме. Потом положила деньги в банк — о чем они, разумеется, не знали — и уехала с этим господином.

Антония: Зачем же ты все распродала?

Нанна: Затем, чтобы они купили мне потом все новое. И правда, стоило мне вернуться, как они, словно муравьи, стали по зернышку притаскивать мне обстановку для дома.

Антония: Да, бедняги верят каждому вашему слову, потому что вы знаете, как околдовать их своими чарами.

Нанна: Не буду спорить, мы знаем много способов заморочить человека. Мы можем незаметно для него подсыпать в тарелку что угодно — хоть какашки, хоть менструальную кровь. Я знала девку — не буду называть ее имени, — которая, желая приворожить одного господина, подсыпала ему в пищу струпья со своих сифилитических язв.

Антония: Фу, гадость какая!

Нанна: Что было, то было. А я однажды неплохо провернула одно свое дельце, прибегнув к помощи свечки, сделанной из жира сожженного человека. Но все эти колдовские штучки — высушенные в тени травы, веревка повешенного, ноготь мертвеца, заклинание дьявола — всё это ерунда по сравнению с одним колдовством, только не знаю, хорошо ли будет, если я тебе о нем расскажу.

Антония: Ты стеснительна прямо как фра Чаппеллетто<sup>121</sup>.

Нанна: Ну ладно, чтобы ты не считала меня лицемеркой, скажу, не чинясь: парочка хорошеньких ягодич способна сделать больше, чем все философы, астрологи, алхимики и колдуны вместе взятые. Я перепробовала столько трав, что из них получились бы две неплохие лужайки, и столько слов, что их хватило бы на беседу десяти рыночных торговцев, но не смогла даже отдаленно затронуть сердца одного человека, имени которого не хочу здесь называть. Но стоило мне повертеть перед ним своими булочками, как он просто обезумел, да так, что удивлялись во всех борделях. А ведь привыкнув что ни день видеть новое, они уже не должны были бы ничему удивляться.

Антония: Смотри-ка, где, оказывается, таится главный секрет обольщения.

Нанна: Да, он таится у нас между ног. То, что у нас между ног, обладает такой же способностью извлекать деньги из мужских карманов, какой обла-

дают деньги, когда требуется извлечь из монастыря то, что у нас между ног.

Антония: Но если наша задница и то, что у нас между ног, обладают такой же силой, что и деньги, — значит, они сильнее даже Ронсеваля, где погибло столько рыцарей<sup>122</sup>.

Нанна: Конечно, сильнее. Но вернемся к нашему разговору. Я хочу, чтобы ты запомнила одну маленькую хитрость, с помощью которой можно добиться очень многого. Был у меня один друг, вспыльчивый, как все транжиры, которым не хватает денег. Он мог прийти в бешенство даже из-за мухи, севшей ему на нос; стоило мне ему чем-то не угодить, он срывался и наговаривал мне грубостей. Но едва гнев проходил, как он, упав на колени и сложив руки крестом, просил у меня прощения, и мое великодушие всегда стоило ему весьма крупных сумм. Увидев, как легко он расстаётся с деньгами, я изменила ему с его соперником, и это привело его в такую ярость, что он меня даже прибил. А когда успокоился, то решил, что уже никогда не сумеет меня утихомирить, поскольку я делала вид, что не желаю о нем даже слышать. Он добился прощения только после того, как переписал на меня половину своего состояния.

Антония: Ты действовала, как мошенник, который боится себя от увечий и оскорблений, а потом начинает дразнить своего врага и не успокаивается, покуда не получит по физиономии. А после этого затевает процесс и получает оговоренную сумму.

Нанна: Ты права, именно так, ха-ха-ха! Ты знаешь, меня душит смех, когда я думаю о проповеднике, предостерегающем нас от семи смертных грехов. Да любая девка, просто для того чтобы выжить, должна совершить их по меньшей мере сотню. Так представь себе, сколько совершит та, которая ради того, чтобы добыть покров на свой алтарь, разоряет тысячи других алтарей. Чревоугодие, гневливость, гордость, зависть, лень, жадность родились в тот самый день, когда родилось ремесло девки. Если ты захочешь узнать, как

девка обжирается, спроси у тех, кто приглашает ее на пиры. Если хочешь знать, какова она в ярости, спроси у Отца и Матери Всех Святых<sup>123</sup> и знай, что если б это было в их власти, они уничтожили бы наш мир гораздо быстрее, чем Господь Бог его сотворил.

Антония: Ужасно!

Нанна: В чванливости девка превосходит даже разбогатевшего мужика. Зависть гложет ее, как гложет больного французская болезнь.

Антония: Пожалуйста, не надо о болезни, ты же знаешь, что я больна.

Нанна: Прости, я совсем забыла о твоей болезни. Уныние, выпадающее на долю девки, еще более тягостно, чем тоска, которую испытывает ее воздыхатель, когда, не имея, чем заплатить за вход, вынужден томиться в передней. В скупости она походит на банкира, который урывает кусок у самого себя, чтобы и его вложить в кассу.

Антония: А что ты скажешь о сладострастии девки?

Нанна: Антония, человек, который все время пьет, никогда не чувствует жажды, и вряд ли знает, что такое голод, тот, кто все время сидит за столом. А если иной раз девке и захочется, чтобы ее открыли большим ключом, то это все равно что каприз беременной, которая набрасывается то на чеснок, то на кислые сливы. Клянусь счастьем Пиппы, среди всех желаний, которые испытывает девка, плотское желание — самое слабое из всех. Для девки главное — разбить сердце, а потом выпотрошить своего поклонника.

Антония: Верю тебе на слово.

Нанна: Уж будь уверена. Ну, а теперь воздай мне должное за прекрасную историю, которую я сейчас тебе расскажу.

Антония: Давай, я слушаю.

Нанна: Среди моих поклонников было трое, художник и два придворных, которые грызлись между собой, как кошка с собакой. Каждый старался застать меня, когда я одна. Но однажды получилось так, что

художник явился в неурочный час. Он постучался, и ему открыли. Он поднялся наверх и только собрался усесться подле меня, как в дверь постучал один из его врагов. Увидев, кто пришел, я спрятала художника и вышла навстречу придворному, который подымался по лестнице и кричал (слава Богу, художник его не слышал): «Ну, если я застукаю тут твоего мазила, то черт меня побери...» Не успел он договорить, как у дверей появился третий поклонник, который покашливанием дал мне знать, что он пришел и чтобы я ему отворила. Я едва успела спрятать того, кто грозился расправиться с художником, как в комнате появился третий, тот, кто кашлял, и прямо с порога заявил: «Я думал, что застаю у тебя этих двух мерзавцев, и, уж если б я их застал, то каждый из них самое меньшее поплатился бы ухом!» Послушать его, так можно было подумать, что он не побоялся бы пнуть в зад самого Каструччо<sup>124</sup>, но куда там! Это стало ясно сразу же, как только художник, ничего не знавший о придворном, и придворный, не подозревавший о художнике, выскочили из своих укрытий, чтобы задать трепку хвостуну, и он, увидев их, кинулся бежать и свалился с лестницы. А так как у тех в глазах было темно от ярости, они повалились на него сверху, и троица смертельных врагов начала свою яростную битву. На шум сбежались люди, но никто не мог войти и разнять драчунов, потому что они прижали дверь своими спинами и она не отворялась. Толпа росла, крики становились громче, и тут случайно на улице появился губернатор. Он приказал вышибить дверь, схватить всех троих, посадить в одну темницу и не выпускать, покуда они не помирятся. И они помирились!

Антония: Замечательная история!

Нанна: Настолько замечательная, что я рассказывала ее всем чужестранцам и даже хотела рассказать Джан Мария Джудео<sup>125</sup>, чтобы он сочинил на эту тему поэму, но не стала, побоялась прослыть тщеславной.

Антония: Ну ничего, Бог тебе воздаст.

Нанна: Будем надеяться. Но если эта история всех рассмешила, то та, что я расскажу тебе сейчас, всех просто потрясла. Достигнув вершины благополучия, которым я была обязана многочисленным друзьям, видевшим во мне лакомый кусочек, я решила замуровать себя заживо в ограде церкви Кампосанто<sup>126</sup>.

Антония: А почему именно Кампосанто, а не Сан Пьетро или Санто Янни?

Нанна: Потому что, поселившись среди мертвецов, я возбуждала бы в людях больше жалости.

Антония: Это верно.

Нанна: Сообщив о своем решении, я начала вести жизнь святой.

Антония: Прежде чем ты продолжишь свой рассказ, скажи, с чего это тебе пришло в голову замуроваться.

Нанна: Я хотела, чтобы мои любовники вытащили меня оттуда за собственный счет. Итак, я начала менять свою жизнь. Первым делом отказалась от всяких излишеств в убранстве дома, потом дошла очередь до постели, потом до стола. Я надела темное платье, убрала подальше золотые цепочки, кольца, ожерелья и вообще все украшения, начала каждый день поститься, тайком продолжая есть. Не отказываясь совсем от общества, я продолжала принимать друзей, но очень редко, что приводило их в отчаяние. Убедившись, что слух о моем решении распространился повсюду, я вывезла из дому все самое дорогое и спрятала в надежном месте, а всякое старье раздала бедным во имя Божие. Решив, что настал нужный час, я собрала всех тех, что считали себя моими вдовцами (им казалось, что лучше было бы совсем меня потерять, чем позволить мне ступить на путь заблуждений). Предложив им сесть, я немного помолчала, перебирая в уме слова, которые заранее приготовила, потом выжала из глаз несколько слезинок и, уже не знаю как задержав их на щеках, сказала: «Братья, отцы и сыновья! О душе не думает лишь тот, у кого ее нет, или тот, кто ею не дорожит. Но мне моя душа дорога. Просвет-

ленная проповедью и легендой о святой Къепине<sup>127</sup>, ужаснувшись виду преисподней, какой ее рисуют на картинах, я решила сделать все, чтобы не попасть в адское пекло. И поскольку число совершенных мною грехов столь же безгранично, сколь безгранично милосердие Божье, я решила, дорогие мои братья, замуровать заживо эту брэнную плоть, это брэнное тело, эту ничтожную жизнь». Тут я услышала всхлипывания, какие раздаются обычно в церкви, когда священник приступает к рассказу о Страстях Господних и прихожане уже не могут удерживаться от слез. Но я продолжала: «Все, больше никакой роскоши, никаких украшений, никаких нарядов. Вместо богато убранной комнаты — пустая келья, вместо постели — охапка соломы, пропитанием моим будет милостыня, питьем — дождевая вода, а шитые золотом одежды заменит вот это». Я вытащила из-под своего табурета грубую власяницу и показала ее своим поклонникам. Если ты помнишь, какие подымаются стенания, когда на глазах толпы в Колизее воздвигается Крест, то ты можешь себе представить и сетования моих поклонников, которые зывали ко мне, глотая слезы. А когда я сказала: «Простите меня, братья», поднялся такой шум, какой, наверное, поднялся бы в Риме, если б его еще раз (не дай Бог) отдали на разграбление<sup>128</sup>. Один из моих поклонников встал передо мной на колени, но, не добившись ничего мольбами, поднялся и начал биться головой об стену.

Антония: Ужас какой.

Нанна: Настало утро, когда меня должны были замуровать, и клянусь тебе, что в церкви Кампосанто собрался весь Рим. Народу было больше, чем бывает, когда все сбегаются в церковь, чтобы посмотреть на крещение жида. Стену заложили под ропот толпы. Одни говорили: «Бог вошел в ее сердце», другие: «Кто бы мог подумать», третьи: «Это будет хорошим примером для остальных». Кто-то отказывался верить своим глазам, кто-то был потрясен, а некоторые смеялись. «Пусть меня распнут, — говорили они, — если она просидит здесь хотя бы месяц». Смех и слезы было смот-

реть на моих несчастных поклонников, которые в отчаянии наперебой уговаривали меня одуматься и не отрывали от меня глаз, как не отрывали глаз фарисеи от гробницы Христа. Но прошло несколько дней, совсем немного, и я начала прислушиваться к мольбам, которые они ежечасно ко мне обращали, уговаривая покинуть келью и убеждая меня, что «спасать душу можно в любом месте». Короче говоря, как только они сняли и обставили для меня новый дом, я удрала из-за стены, которую они разобрали, как разбирают в день Святого Юбилея<sup>129</sup> стену в Сан Пьетро, после того как папа вынет из нее первый кирпич. Удрав, я стала вести себя еще бесстыднее, чем раньше, обо мне судачил весь Рим, а те, что предсказывали мое бегство, громко восклицали: «Ну, что мы говорили?»

Антония: Просто не могу себе представить, чтобы женщина могла такое придумать.

Нанна: А девка — это не женщина, девка — это девка, а потому она и способна придумать и исполнить то, что придумала и выполнила я. Да, я совсем забыла сказать об одной важной черте девки, уподобляющей ее муравью, который летом делает запасы на зиму: о ее благоразумной расчетливости. Знаешь ли ты, дорогая моя сестричка, что в сердце у каждой девки сидит заноза, которая не дает ей ни минуты покоя. Эта заноза — неотступная мысль о поджидающих ее свечах и лестницах, о которых ты так верно говорила. Поверь, что на одну Нанну, сумевшую скопить кое-что на старость, приходится тысячи несчастных, которые заканчивают свою жизнь в лазаретах. Маэстро Андреа недаром говорил, что девки и придворные стоят друг друга, медяшек среди них куда больше, чем золотых монет. Так как же действует на девку эта заноза, застрявшая у нее в душе и сердце? Она заставляет ее постоянно думать о старости. Именно мысль о старости приводит девку в приют, где она выбирает самую красивую девочку и воспитывает ее как дочь. Она берет девочку в таком возрасте, чтобы та расцвела как раз в то время, когда сама она уже отцветет, Она дает ей самое красивое имя, какое только может

придумать, и то и дело его меняет, чтобы никто не докопался до настоящего. Девочку зовут то Джулией, то Лаурой, то Лукрецией, то Пентесилеей, то Кассандрой, то Порцией, то Вирджинией, то Пруденцией, то Корнелией. На одну девочку, у которой есть родная мать (как моя Пиппа), приходится тысячи сирот, которых взяли из приюта. Что касается родных детей, то сам черт ногу сломит, если захочет доискаться, кто же отец рожденного нами ребенка. Обычно мы говорим, что это какой-то благородный синьор или монсиньор, но в наш огород брошено столько семян, что угадать, какое из них проросло, попросту невозможно. Девка не иначе как сошла с ума, если хвалится тем, что знает, откуда пошел росток в ее огороде, засеянном таким количеством немеченных семян.

Антония: Ты права.

Нанна: Горе тому, кому довелось попасть в руки девки, у которой есть мать. Беда тому, кого они стреножат! Потому что мать, если она еще не стара, тоже потребует свою долю удовольствий. Таким образом, к плутням дочери добавятся еще и мошеннические проделки матери. Она вынуждена на них пускаться, потому что ей нужны деньги, для того чтобы платить мужчине, который согласится ее ублажить. К тому же обычно они прельщаются именно юношами, эти старухи, и им нелегко даже за деньги найти себе мужчину, который согласился бы иметь с ними дело.

Антония: Ты рассуждаешь совершенно справедливо.

Нанна: Сколько опасностей подстерегает несчастного, о котором судачат живущие в одном доме мать и дочь. Какие здесь устраиваются заговоры с целью завладеть его кошельком, какие коварные даются советы, какие подлые делаются подкаски. Даже учитель фехтования не может научить такому количеству приемов, какому обучает нас мать — неважно, родная или названная. Она говорит дочери: «Когда придет твой друг, скажи ему то-то, попроси то-то, поцелуй его вот так, погладь вот эдак; вот так сердись, а вот так

радуйся, не надо быть слишком суровой, но и слишком ласковой тоже не надо. Посреди веселого разговора вдруг выйди из комнаты и сделай вид, что ты чем-то опечалена; смело нарушай все обещания, выуживая кольца, ожерелья и браслеты. В худшем случае тебе придется их вернуть». Поверь, Антония, я знаю, что говорю.

Антония: Пожалуй, я готова тебе поверить.

Нанна: Готова, так поверь.

Антония: И ты тоже вела себя так же вероломно?

Нанна: Если писаешь как девка, то и ведешь себя как девка; покуда я была девкой, я делала все, что делают девки. К тому же я не стала бы девкой, если бы у меня не было характера девки, и если кто и заслуживает диплома девки, то это я, твоя Нанна, которая двадцать пять лет была величайшей мастерицей своего дела. Между прочим, легче пересчитать светлячков на майском лугу, чем вычислить возраст девки, которая сегодня говорит тебе, что ей двадцать, а спустя шесть лет клянется, что — девятнадцать. Но вернемся к моему рассказу. Если бы ты знала, сколько несчастных было из-за меня убито и ранено!

Антония: Хотела бы я знать, что ждет тебя на том свете.

Нанна: А что? Вот увидишь, после всех Юбилеев, Отпущений и Стаций моя душа окажется на том свете не из последних, как на этом не из последних было мое тело. Да, душа моя будет не из последних, хотя я и любила, чтобы мужчины убивали друг друга из-за меня. Мне это нравилось, потому что я была честолюбива, ведь это во славу моей красоты день и ночь сверкали, сталкиваясь, шпаги. И горе тому, кто был со мной нелюбезен: чтобы отомстить, я готова была отдаться даже палачу.

Антония: И все-таки добро — это добро, а зло — это зло.

Нанна: Как посмотреть. Да, я творила зло и раскаиваюсь в этом, но в то же время и не раскаиваюсь.

Если б ты знала, сколь виртуозна была я в искусстве сводить с ума! Бывало, у меня в доме одновременно сходилась десять любовников, и для каждого у меня находился поцелуй, ласка, нежное слово, рукопожатие. И все чувствовали себя, как в раю, покуда не появлялся среди них новенький голубок, весь в ленточках, бантиках и оборочках, как это принято при мантуанском или феррарском дворе. Я принимала его, как и положено принимать того, кто явился к тебе с подарками, и, побросав всех своих поклонников, уводила его в свою комнату. И куда только девалась спесь оставшихся гостей! Она опадала, как опадают лесные орехи после первого заморозка, как опадают цветы на ветру. Сначала слышались только вздохи без слов, вынужденные покориться моей воле, они могли только пожимать плечами, не в силах ничего предпринять. Вздохи сменялись тихими жалобами, при этом одни покусывали палец, другие стучали кулаком по столу, третий отчаянно чесал в голове, четвертый расхаживал по комнате, пятый вдруг выкрикивал издевательский куплет, чтобы сорвать злость. Если мое возвращение затягивалось, они спускались по лестнице и уходили, а в ответ на мой призыв вернуться бросали крепкое словцо служанке или кому попало. Но когда, сделав круг по улице, они возвращались и, поднявшись наверх, находили мою дверь по-прежнему запертой, на них нападало настоящее отчаяние.

Антония: Даже Анкройя не была такой жестокой.

Нанна: Что-то ты больно жалостлива.

Антония: Что поделаешь! Такой я родилась, такой и умру.

Нанна: Да ради Бога, лишь бы ты меня слушала.

Антония: Слушаю, да еще как.

Нанна: А как забавно было в разгар любовных восторгов, все равно с кем, удариться вдруг в слезы безо всякой причины. А в ответ на вопрос: «Отчего вы плачете?» — сказать, дрожа и всхлипывая: «О, горе мне, горе, ты меня не любишь, ну что ж, такова, вид-

но, моя злая участь». А в другой раз я, заплавав, говорила любовнику, который должен был отлучиться часа эдак на два: «И куда же это вы идете? Не иначе как к одной из тех, что обращаются с вами, как вы того заслуживаете». И дурачок чуть ли не лопался от гордости, видя, как страдает из-за него женщина. А еще я любила заплакать при виде любовника, который возвращался после двухдневной разлуки; он должен был думать, что это от радости.

Антония: Вижу, ты легко плакала!

Нанна: Да, знаешь, бывает такая земля: стоит копнуть — и сразу вода, а иной раз и копать не надо. Но я всегда плакала одним глазом.

Антония: Разве можно плакать одним?

Нанна: Девки всегда плачут одним, замужние двумя, монахини — четырьмя.

Антония: Интересно знать, почему.

Нанна: Это действительно интересно, но долго рассказывать. Скажу только, что девки одним глазом плачут, а другим смеются.

Антония: Еще интереснее. Объясни, как это.

Нанна: Разве ты не знаешь, что у нас, то есть у девок (ох, нравится мне это слово!), всегда в одном глазу смех, а в другом — слезы. Ведь недаром мы и смеемся, и плачем из-за пустяков. Глаза у девки — как солнце, подернутое облаком: луч то выглянет, то спрячется. Посреди рыданий у нее вдруг вырывается смешок, а в разгар смеха — рыдание. В этом деле — смех пополам со слезами — меня не мог превзойти никто, даже девки из Испании. Именно с помощью смеха пополам со слезами я погубила больше мужчин, чем умерло их на соломе при знатнейших дворах. Смех со слезами — это у нас самое главное, но этим средством надо пользоваться с умом; если момент упущен, от него нег никакого проку. Это — как розы Дамаска: рвут их только на рассвете, иначе они теряют аромат.

Антония: Век живи — век учись.

Нанна: После смеха со слезами идет их родная сестра — ложь. Как крестьяне обожают лакомиться:

лепешками, так я обожала врать; за свою жизнь я наговорила столько неправды, сколько правды сказано в Евангелии. Пользуясь клятвами как строительным раствором, я замечательно умела вмазывать людям свои выдумки, так что даже, наверное, ты, послушав меня, сказала бы: «Каждое слово — правда, ну прямо что твое Евангелие». Каких только небылиц я не придумывала — то про каких-то родственников, то про несуществующие поместья — и, сочинив целую историю, говорила потом, что все это мне приснилось. В столике я держала список своих любовников и, поделив между ними ночи всей недели, объявляла имя того, кто спит со мной сегодня. Тебе, наверное, приходилось видеть в ризнице, на стене, список месс, которые будет служить священник, — так вот, у меня было что-то вроде этого.

Антония: Как же, как же, как вспомню священника, тут же вижу тебя.

Нанна: Вот и правильно.

Антония: Ну, а что общего между этим списком и тем, как ты любила врать?

Нанна: А то, что некоторые голубочки, свято верившие списку, в который была включена и их ночь, часто оказывались в дураках, потому что я свободно меняла их местами, как это делают с мессами в церкви.

Антония: Ах вот, значит, как связаны эти списки с твоей привычкой врать!

Нанна: А теперь намотай себе на ус вот такую историю. Как-то раз я выпросила у одного своего страстного воздыхателя дорогую золотую цепочку, которую тот позаимствовал у своего приятеля, знатного господина; чтобы ему удружить, тот взял ее у своей жены. Я надела цепочку на шею в тот самый день, когда папа на площади Минервы одаривает приданым бедных девушек.

Антония: То есть в День Благовещения?

Нанна: Да, да, на Благовещенье. Я повесила ее на шею, но недолго она там повисела.

Антония: Как это?

Нанна: А вот как. Войдя в церковь и увидев всю эту толпу, я решила оставить цепочку себе, и что же, ты думаешь, я сделала? Сняв цепочку, я отдала ее человеку, котсрому доверяла больше, чем своему духовнику, и стала постепенно продвигаться вперед, покуда не оказалась в самой гуще толпы. И тут я пронзительно закричала: так кричит человек, которому рвет зуб шарлатан на Кампо деи Фиори. Все обернулись на крик, а Нанна, не будь дура, как завопит: «Цепочка! Цепочка! Моя цепочка! Вор, жулик, хапуга, мошенник!» И при этом я еще заливалась слезами и рвала на себе волосы. Заволновалась толпа, взбудораженная моими криками, в церкви началась свалка, на шум прибежал стражник, схватил какого-то бедолагу, который показался ему похожим на вора, приволок его в Торре ди Нона, и там его сгоряча чуть было не повесили.

Антония: Не желаю слушать, что было дальше.

Нанна: Нет уж, ты послушай!

Антония: Хотелось бы знать, что сказал тот, кто одолжил тебе цепочку.

Нанна: Выйдя из церкви, я, плача и всплескивая руками, направилась домой, а когда пришла, заперлась в своей комнате, приказав служанке: «Чтобы никто не смел меня беспокоить!» Тут как раз появляется мой друг, хочет со мной поговорить, но его не пускают. Он стучит и снова стучит, кричит и снова кричит: «Нанна! А, Нанна! Открой! Открой, тебе говорю! Не надо расстраиваться из-за таких пустяков!» Я же притворяюсь, будто ничего не слышу, и говорю как бы сама с собой, но при этом достаточно громко: «Ах, я бедная-несчастливая, ах, я глупая разиня! Что же мне теперь остается: то ли в монастырь, схиму принять, то ли прямо головою в реку». Потом встаю с постели и, не отворяя двери, говорю служанке: «Поди к жиду, я продам все, что у меня есть, но за цепочку расплачусь». Увидев, что служанка уже собралась идти к жиду, мой приятель закричал: «Отвори, это я!» Я открыла и, увидев его,

снова подняла крик: «О, горе мне, горе!» А он говорит: «Не беспокойся, пусть я останусь голым и босым, но не дам тебе убиваться из-за таких пустяков». — «Нет-нет, — отвечаю я, — дай мне только два месяца, и ты увидишь...» Короче говоря, он провел эту ночь у меня, и она была для него такой сладкой, что он больше никогда не заговорил о цепочке.

Антония: Ну что ж, это была неплохая сделка.

Нанна: А как-то раз в меня влюбился старый хрыч — дряхлый, тощий, морщинистый, ну а я влюбилась в его кошелек. Наслаждаться мною он был способен примерно так же, как беззубый — грызть сухую корку, поэтому он только и делал, что щупал меня да тискал и сосал груди. Ни трюфеля, ни артишоки, ни взбадривающие сиропы не могли заставить его палку подняться. И даже если она чуть-чуть приподымалась, то тут же опадала, как фитиль, у которого кончилось масло: чуть занявшись, он сразу же гаснет. Сколько я его ни теребила, сколько ни совала палец в око или под бубенчики, толку от этого не было никакого. И каких только шуток я над ним не шутила! Однажды устроила обед, на который явилось множество куртизанок. Старик оплатил все расходы, а кроме того, принес тридцать серебряных тарелок, четыре из которых я украдала. А когда он поднял шум по этому поводу, я бросилась ему на шею и принялась уговаривать. «Папа, папа, — говорила я ему, — не надо кричать, у вас будет несварение. Возьмите мои платья, возьмите что хотите и заплатите за эти несчастные тарелки». Он успокоился, а потом я столько раз называла его папой, что он привык к этому, как привыкает к слову «папа» отец, слыша его все время от любимого сыночка. Он сам заплатил за тарелки и удовольствовался клятвой, что никогда в жизни больше ни у кого ничего не возьмет в долг.

Антония: Ну, ты и молодец!

Нанна: Завязывая новую дружбу, я была такой ласковой, что каждый, кто говорил со мною впервые, уходил, превознося меня до небес. И только потом,

распробовав, понимал, что принял за манну — алоэ. Если вначале я старалась делать вид, что мне не по нраву дурные поступки, то потом я уже не скрывала, что не по нраву мне как раз хорошие дела. Ведь для настоящей девки нет ничего приятнее, как устраивать скандалы, сбивать с толку, портить дружеские отношения, сеять ненависть, слушать ругань и натравливать людей друг на друга. При этом у меня не сходили с языка князь, император, турецкий султан, король. Я любила поговорить о нужде и богатстве, о миланском герцоге и о том, кто будет новым папой. Я уверяла всех, что звезды на небе точно такого же размера, что бронзовая шишка в храме святого Петра<sup>130</sup>, ничуть не больше, что Луна — это названная сестра Солнца, и, перескакивая с герцогов на герцогинь, говорила о них, как о полных ничтожествах, только что ноги о них не вытирала. В общем, я так перед ними чванилась, что куда там императрице! Я вела себя, как та, знаешь, что, расстелив у своих ног шелковые ковры, приказывала всем, кто приходил, опускаться перед ней на колени.

Антония: Ты имеешь в виду папессу?<sup>131</sup>

Нанна: Да говорят, она не так уж и важничала. К примеру, она никогда не выдумывала себе имен, как это любят делать девки. Одна из них уверяет, что она дочь герцога Валентино, другая — что кардинала Асканио<sup>132</sup>, а Мне-Мама-Не-Велит подписывается не иначе как «Лукреция Порция, римская патрицианка» и запечатывает письма огромной печаткой. Но не нужно думать, что славные имена, которые они себе присваивают, делают их лучше. Им настолько чужда жалость, милосердие и любовь, что они не подали бы даже святому Рокко, святому Иову или святому Антонию, попроси они у них милостыню, а ведь они перед ними трепещут!

Антония: Паршивки!

Нанна: И знай: лучше швырнуть вещь в реку, чем подарить девке. Получив подарок, она уже не скрывает презрения к своему благодетелю, хотя до этого

всячески перед ним заискивала. Единственное, что в них хорошо, — это верность своему ремеслу. Ну прямо что твои цыгане или индийские братья<sup>133</sup>! А еще — у девки на языке мед, а под языком — лед. Только что ты видела, как две из них буквально облизывали друг друга, но стоит им расстаться, как они несут друг про друга такое, что испугался бы даже Дезидерио со своими собутыльниками<sup>134</sup>, а ведь они, как известно, сумели напугать даже смерть, продолжая смеяться над нею в те минуты, когда их четвертовали и жгли на костре. В своем злоязычии девки не щадят никого; как бы ты их ни любил, сколько бы добра ни делал, все равно они над тобой посмеются. Девка готова посмеяться и над тем, кто считается ее фаворитом, и к которому она обращается не иначе как «ваша светлость» и «ваше сиятельство». Когда он уходит, уступая место другому гостю, его провожают поклонами и сладкими словами, но едва он спустится с лестницы, как в спину ему несутся насмешки, а уж когда выйдет за дверь, его начинают поносить, как последнего мерзавца, и настает черед нового гостя чувствовать себя любимчиком.

Антония: А почему они так себя ведут?

Нанна: Да потому что девка не была бы девкой, не будь она предательницей по духу и убеждению. Девка, которая лишена этого свойства, все равно что кухня без повара, еда без питья, лампа без масла, макаронны без сыра.

Антония: Думаю, что те, кого они погубили, чувствуют большое утешение, видя девку, запряженную в телегу, как случилось, например, с той, про которую сложены следующие стихи:

О Мама-Не-Велит, о Лоренцина,  
О Л'аура, Чечилья, Беатриче,  
Пусть сей позор послужит вам уроком!

Я выучила эти стихи наизусть и думала, что их написал маэстро Андреа, а потом узнала, что их автор — это тот самый, от которого достается даже «великим

мужам», он не щадит никого<sup>135</sup>. Вот так же не щадит меня моя болезнь, и мне ничего не остается, как терпеть, потому что ни от микстур, ни от мазей, ни от растираний нет никакого толку.

Нанна: Просто и не знаю, что тебе еще рассказать, хотя в запасе у меня много больше, чем я тебе поведала. погоди, дай собраться с мыслями. У меня уже мозги набекрень, голова идет кругом, оттого что ты все время заставляешь меня перескакивать с пятого на десятое. Ну ладно, скажем так: появился однажды в Риме юноша двадцати двух лет, знатный и богатый, из купеческой семьи, лакомый кусочек для всякой девки, и я сразу же положила на него глаз. Я сделала вид, будто страстно в него влюбилась, и, чем больше я показывала, как я его люблю, тем выше он задирает нос. Что ни день, я пять, а то и шесть раз посылала к нему служанку, умоляя его удостоить меня визитом, и по городу быстро распространился слух, что я прямо-таки по нему сохну. «Смотрите, — говорили все, — девка-то втюрилась! И в кого! У него же молоко на губах не обсохло! Она просто с ума сходит, оттого что не может его удержать». Я на все это молчу, хотя в душе злюсь, и продолжаю делать вид, что не ем, не сплю — только о нем и думаю. Я говорила только о нем, беспрестанно его к себе приглашала, и в конце концов вокруг уже начали биться об заклад: умру ли я из-за его прекрасных глаз или просто тронусь умом. Юноша, которому уже перепало от меня несколько сладостных ночей и вечерних трапез, хватался всем моим подарком — дешевеньким бирюзовым перстеньком. А я при всяком удобном случае ему говорила: «Если вам нужны деньги, ни у кого не одалживайтесь, берите у меня: все, что у меня есть, — ваше, потому что я и сама — ваша». Все показывали на него пальцем, когда он, распустив хвост, расхаживал по улице Банки. Как-то раз, когда он был у меня, в гости ко мне пожаловал один знатный господин. Закрыв юношу в своей туалетной, я вышла к посетителю. Он поднялся ко мне наверх, сел и, увидев простыни из тонкого батиста, сказал: «Кому же это пред-

стоит лишить их девственности? Вашему Канимеду?» (Или Ганимеду, не помню точно.) «А кому же еще, — отвечаю я, — ведь я люблю его, прямо-таки обожаю, он мой бог, а я его раба и вечно буду рабой. А вас, всех остальных, я люблю только ради ваших денег». Можешь себе представить, как загордился юнец, когда все это услышал! Как только гость ушел, я его выпустила: он вышел из своего укрытия в рубаше, едва прикрывавшей зад, и в таком виде стал расхаживать по дому, поглядывая на меня и на слуг с видом хозяина. Но я уже подхожу к концу этой молитвы. Однажды, когда он хотел по своему обычаю завалить меня на сундук, я вырвалась и убежала, оставив его в самой охоте, а сама заперлась с другим. Не привыкший к таким шуткам, он схватил свой плащ, выругался и, бросив какую-то глупую угрозу, ушел, уверенный, что вскоре я его позову. Увидев же, что голубка не дает о себе знать, он разъяренный появился у моих дверей и услышал: «Синьора не одна». Его как палкой по голове ударили. В горле у него пересохло, на глазах выступили слезы, и он, понурившись, медленно побрел прочь от моего дома. Ноги у него дрожали, как у человека, только что оправившегося после болезни; я подглядывала за ним сквозь жалюзи и смеялась. Когда кто-то с ним поздоровался, он ответил, едва приподняв голову. Вечером он снова пришел, и я приказала его впустить. Он застал меня в веселой компании и, не дождавсь, чтобы ему предложили сесть, предложил себе это сам. Устроившись в углу и не участвуя в общем веселье, он так и просидел там, пока все не разъехались. Когда мы остались одни, он сказал: «Так вот, значит, какова ваша любовь. Чего стоят ваши ласки, ваши клятвы?» А я ему отвечаю: «Знаешь, дружок, из-за тебя я и так стала притчей во языцех среди всех римских куртизанок. Люди смеются над моею простотой. Но больше всего мне не нравится, что мои любовники перестали давать мне деньги. „Зачем, — говорят они, — мы будем покупать масло, если на нем будут поджаривать хлеб для другого?“ Если ты хочешь снова видеть меня такой, какой я

была, ты должен сделать одну вещь». Услышав это, он поднял голову, как подымает ее приговоренный к смерти при криках толпы «Отпустить его! Отпустить!» Он принялся уверять меня, что ради моей любви готов сделать все, даже невозможное, хоть блоху подковать, и умолял не томить и поскорее сказать, чего я от него хочу. Я сказала: «Я хочу новую шелковую постель, вместе со всеми украшениями, тканью и деревом для изголовья, она будет стоять около 199 дукатов. Мне надо, чтобы мои приятели увидели, что ты тратишь деньги, стараясь мне угодить. Но ты возьми все это в кредит, а когда настанет время платить, предоставь дело мне: я заставлю их раскошиться». — «Это невозможно, — отвечает он. — Отец повсюду разослал письма, чтобы мне ничего не давали в кредит и что всякий, кто это сделает, сделает это на собственный страх и риск». Я поворачиваюсь к нему спиной и выгоняю его из дому. Спустя полтора часа посылаю за ним снова и говорю: «Поди к Соломону, он даст тебе денег под твою расписку». Он идет к Соломону и, услышав от него: «Без процентов я денег не даю», снова возвращается ко мне. Тогда я говорю: «Иди к такому-то, он даст тебе драгоценностей на оговоренную сумму, и жид у тебя их купит». Он уходит, находит того, с драгоценностями, обо всем договаривается, дает ему расписку сроком на два месяца, потом относит драгоценности Соломону, продает, а деньги приносит мне.

Антония: Что-то я не понимаю, что ты затеяла.

Нанна: Драгоценности были мои. Я отдала ростовщику деньги, которые принес мне мальчик, и получила их обратно. Прошла неделя, я послала за тем человеком, который дал моему дружку драгоценности под расписку, и сказала ему: «Сажай его в тюрьму, как подозреваемого в попытке бегства». Мой приказ был выполнен, юного сластолюбца схватили и выпустили лишь после того, как он заплатил долг вдвойне: ведь и сегодня, как и раньше, никто не хочет кормить своего постояльца даром.

Антония: Я всегда считала себя пройдохой, но

теперь, после твоих рассказов, чувствую себя дура душой.

Нанна: Помню, приближалась пора карнавала, который всегда настоящее испытание, а порой даже бедствие для несчастных лошадей, для тех, кому нечего надеть, для бедных влюбленных. Был у меня поклонник, который вечно рвался сделать для меня больше, чем мог себе позволить, и я надела на него сразу же после Рождества, когда костюмированных на улице еще немного, но их число с каждым днем растет. Так бывает, когда начинают идти дыни: сегодня тебе на глаза попало штук пять-шесть, завтра — десять-двенадцать, потом набирается на целую корзину, а потом их уже просто некуда девать. Одним словом, масок на улицах было еще совсем мало, когда мой самоуверенный хвастунишка без слов понял, чего я хочу, и сказал: «Вы, конечно, будете участвовать в маскараде?» А я отвечаю: «Где уж мне, я ведь домохозяйка, гляжу на мир из-за ставень, пусть идут на маскарад красавицы, у которых есть что надеть». Но тут он говорит: «Я хочу, чтобы в ближайшее воскресенье вы показались в модном маскарадном костюме». Я несколько мгновений молчу, а потом бросаюсь ему на шею. «Любовь моя, — восклицаю я, — как ты хочешь, чтобы я оделась?» — «Я хочу, — отвечает он, — чтобы вы были верхом и в роскошном платье. Коня я вам приведу от самого аббата, мне обещал его конюх». — «Именно о таком я и мечтала», — восклицаю я, и мы договариваемся, что он все доставит мне за неделю. Вызвав его к себе в понедельник, я говорю: «Первым делом ты должен справиться мне пару чулок и штаны. Чтобы не входить в лишние расходы, пришли мне свои бархатные, я почию их и переделаю на себя. Чулки обойдутся тебе недорого, а один из твоих колетов, даже не из самых роскошных, будет мне как раз в пору». Судя по тому, как он мялся и невнятно бормотал: «Ну да, конечно, хорошо», я поняла, что он уже раскаивается в том, что сам подал мне мысль о маскараде. «Я вижу, — сказала я, — что все это тебе не по душе. Оставим нашу затею, я не буду участвовать в

маскараде». Я уже пошла было к себе, но он меня остановил. «Хорошего же вы обо мне мнения», — сказал он и тут же послал слугу за своими вещами, а заодно и за портным, который быстро все на меня подогнал. В тот же день купили ткань для чулок, скроили их, сшили и доставили мне через два дня. Помогая мне их натягивать, он приговаривал: «Ну прямо как влитые». А я, одевшись мальчиком и позволив ему обойтись со мною, как с мальчиком, говорю сразу же после этого: «Сказав „а“, надо говорить „бэ“; я хотела бы еще пару бархатных туфель». Так как денег у него уже не было, пришлось ему снять с пальца кольцо и отдать его за бархат. Отослав кольцо сапожнику, у которого была моя мерка, я получила туфли в одно мгновение. После этого я выцыганила у него рубашку с его плеча, всю расшитую золотом и шелком. Теперь не хватало только шляпы, и я сказала: «Дай мне свою, а кокарду я достану сама». А он уже вовсю разошелся, представив себе, как все вокруг станут говорить о том, что это он меня разodel, и с легкостью отдал мне свою шляпу, а себе оставил старую, которую собирался подарить слуге. Наступил вечер накануне того дня, когда я должна была показаться во всей красе, и всякий, увидевший, как хлопочет вокруг меня мой любовник, подумал бы: «Не иначе как мы на Кампидольо и присутствуем на облачении сенатора». В пять ночи\* я послала его купить мне перо для шляпы, потом он ушел за маской, а так как она оказалась не моденской, я послала его снова, чтобы он принес именно моденскую, а после этого он еще сбегал за дюжиной шнурков.

Антония: Ты могла попросить его купить все за один раз.

Нанна: Могла, но не захотела.

Антония: Почему?

Нанна: Я хотела быть синьорой не только по имени, мне нравилось командовать и распоряжаться.

---

\* То есть в одиннадцать часов вечера.

Антония: А он хоть переспал с тобой накануне праздника?

Нанна: Всего разочек, после долгих уговоров. «Вот завтра, — сказала я, — хоть двадцать раз, если десяти тебе покажется мало». Наступило утро, и еще не взошло солнце, как я подняла его с постели. «Отправляйся за лошадью, — сказала я, — я хочу выехать сразу же после завтрака». Он встал, оделся и ушел. Найдя главного конюха, он, стараясь подольститься, сказал ему самым подобострастным тоном: «Вот и я». Конюх же на это — никакого внимания, ни да, ни нет. «Вы что же, погубить меня хотите?» — спрашивает мой приятель. «Нет, что вы, — отвечает конюх, — но аббат, мой хозяин, прямо-таки обожает эту лошадь, а я, зная нрав девок, которым даже на Бога наплевать, не то что на бедное животное, боюсь, что она загубит мне коня. Вот это и будет настоящая погибель, не чета вашей». Но мой кавалер так его молил и упрашивал, что конюх в конце концов сказал: «Ну хорошо, я не могу вам отказать, присылайте за лошадью, вам ее дадут». Конюх передал свое распоряжение тому, кто ходил за лошадью, и любовник послал ко мне своего слугу, чтобы сообщить, что все в порядке. Тот же, рассказывая мне о том, как было дело, хохотал вместе со мною.

Антония: Ужасный народ эти слуги, все как один предатели.

Нанна: Это ты права. Настал час завтрака, мы сели за стол вместе с приятелем, и едва он проглотил пару кусков, как я говорю: «Накорми слугу и посылай его за лошадью». Он послушался; слугу накормили и отослали. Но когда я уже думала, что вот-вот увижу его вместе с лошадью, как он появляется без нее и, поднявшись наверх, говорит: «Мне ее не дали. Главный конюх хочет сначала вам что-то сказать». Бедный парень не успел договорить, как ему запустили тарелкой в лицо.

Антония: И за что же ему так досталось от хозяина?

Нанна: А за то, что он должен был отозвать его в сторону и все сказать на ухо, чтобы я не слышала. Но я уже услышала и говорю: «Хорошенькое дело, нечего сказать. Видно, это мне за то, что взамен маски, которой одарила меня моя гулящая мать, я хотела обзавестись другой, покрасивее. Так я и знала, что этим кончится. Но все, больше ты меня не надуешь. Дура я была, что тебе поверила. Мне не лошади жаль, мне обидно, что надо мной посмеялись». Он клянется, что лошадь приведут, но я не слушаю. поворачиваюсь к нему спиной и говорю: «Оставь меня в покое». Тогда он схватил плащ, полетел на конюшню, кланялся там каждому прислужнику, добрался до главного конюха и устроил ему такой скандал, что добился своего: злополучную лошадь ему дали. Я тем временем каждую минуту высывалась в окно, надеясь ее увидеть. Но сначала прибежал его слуга, весь взмыленный, с плащом через плечо. «Госпожа, — сказал он, — с минуты на минуту лошадь будет здесь». И едва он это сказал, как я увидела человека, который вел лошадь в поводу и на чем свет ее проклинал, потому что она всю дорогу брыкалась. Когда он подошел к моим дверям, я высунулась в окошко, чтобы все видели, кому привели лошадь. К моей радости, вокруг нее тут же собралась толпа мальчишек, которые всем и каждому объясняли: «Синьора из этого дома собирается на маскарад». Вслед за лошадью, радостный и запыхавшийся, прибыл мой возлюбленный. Одарив своего дружка поцелуем, я спрашиваю, где же бархатный плащ, который слуга должен был принести накануне. Плаща нет, потому что этот пьяница про него позабыл. Если б я не удержала хозяина, от слуги мокрого места не осталось бы. Но тут он бегом бросился за плащом, принес и накинул его мне на плечи. Натягивая чулки, я заметила, что у моего кавалера очень миленькие подвязки; всего одно слово — и они перешли ко мне, а ему достались мои, не слишком красивые. Покончив с одеванием (на это ушло столько времени, что иной успел бы нашить состояние), меня с шутками и прибаутками взгромоздили на лошадь; оседлал свою клячу и мой

возлюбленный, и мы вместе двинулись в путь. Он держал меня за руку, желая, чтобы весь Рим видел, в каком он фаворе. Вот так вдвоем мы добрались до того места, где продаются крашенные яйца, в которые налита розовая вода. Приказав рассыльному скупить у одного из продавцов весь его товар, я в один миг, никто и охнуть не успел, разбросала все яйца по сторонам, а мой кавалер отдал в уплату за них цепь, красовавшуюся у него на груди. Потом я снова взяла его за руку и не отпускала, покуда на нашем пути не оказалась целая толпа в масках и без масок. Я смешалась с этой толпой и его оставила с носом. Это случилось не то в Борго, не то на улице Банки, где всегда особенно грязно, но я, не думая ни о лошади, ни о плаще, пустилась вскачь. Раза четыре или пять за этот день я встречала своего приятеля, но не обращала на него никакого внимания, словно это был совершенно незнакомый человек. Он же выглядел, как мокрая курица, и тщетно старался догнать меня на своей кляче. Была уже ночь, и я в компании других девок и их хахалей распевала во весь голос:

В зной дрожу, горю зимой <sup>136</sup>,

когда бедняга наконец сумел меня догнать и схватить за руку. Распроставшись с компанией («Доброй ночи, господа, доброй ночи»), я сняла маску и сказала своему дурачку: «Наконец-то ты соизволил явиться! Я знаю, почему ты меня бросил, и отплачу тебе тем же». И пока глупец оправдывался, обвиняя во всем меня, мы оказались на Кампо деи Фиори. Я остаиваюсь около торговца птицей, беру у него двух каплунов и две вязки дроздов, приказываю доставить все домой, а кавалеру своему говорю: «Заплати». Пришлось ему оставить там рубин, подарок матери, которым он дорожил так же, как я — своей мечтой разорить его подчистую. Вернувшись и обнаружив, что дома нет ни свеч, ни дров, ни хлеба, ни вина (все было подстроено нарочно), я пришла в страшный гнев. Несколько успокоившись после того, как он сам отправился за покупками (слуга в это время отводил ло-

шадь на конюшню, и конюх сказал, что больше не даст ее никогда и никому, будь он даже сам Иисус Христос), я бросилась на кровать. Вскоре все, что было нужно, явилось в изобилии, с помощью матери в один миг был приготовлен ужин, и мы сели за стол. Когда мы уже заканчивали ужинать, с улицы донеслось чье-то покашливание, и это очень встревожило моего бедного кавалера. Я же выглянула в окошко, увидела, что это один мой приятель, сбежала вниз, и мы тотчас ушли. А мой поклонник провел ночь один, не сомкнув глаз. Он все расхаживал взад-вперед по комнате, вслух грозя со мною разделаться. Но пусть скажет спасибо, что получил хотя бы плащ, который мне одалживал. Слуге пришлось ходить за ним целую неделю.

Антония: Не очень-то ты была любезна с человеком, который столько для тебя сделал, а в награду получил всего одну ночь.

Нанна: Такова любезность девки. Примерно так же обошлась я с одним торговцем сахаром, который буквально засыпал меня своим товаром, чтобы добиться того, что казалось ему слаще сахара. Покуда все это длилось, мы были по горло в сахаре, даже в салат клали сахар. И отведав наконец меду из моей... (сама знаешь, как это называется), он поклялся, что в сравнении с ним его сахар — сплошная горечь.

Антония: Именно поэтому он и таскал тебе его целыми тюками.

Нанна: Ха-ха-ха! Помню, что он чуть с ума не сошел, когда впервые увидел мою штучку. Он все трогал ее и трогал и, хорошенько все ощупав, сказал, что она похожа на сомкнутые уста мраморных статуй, которых такое множество в Риме. Он говорил, что она и улыбается тою же улыбкой, какой улыбаются эти статуи. И хотя хвалить себя нехорошо, он был прав, потому что эта штучка у меня действительно была прелестна. Волосики росли так, что ничего не скрывали, а сама щелочка была прорезана так изящно, что была едва заметна. И расположена она была замечательно,

не слишком высоко, не слишком низко. Честное слово, сахарный купец целовал ее чаще, чем мой рот, он буквально высасывал ее, как высасывают свежеснесенное яйцо.

Антония: Вот разбойник.

Нанна: Почему разбойник?

Антония: Недаром же Господь его наказал.

Нанна: Разве это наказание — влюбиться в меня?

Антония: Да вроде бы нет.

Нанна: Не буду говорить тебе обо всех уловках и хитростях, с помощью которых я обчищала человека так, что он даже не замечал, как это делалось. Если в руки мне попадал какой-нибудь простофиля, я тут же переходила на речь, принятую среди сводников, и он, не понимая, что значит «капуста», «лох», «подмахнуть», не переставал удивляться моим речам, как удивляются крестьяне, слыша речь врача. Воры правильно делают, что пользуются этим языком, он действительно помогает им в их ремесле. Ну, а сейчас я тебе расскажу, как подшутила я однажды над одним колпаком (если воспользоваться тосканским выражением), который был, кажется, из Сиены.

Антония. Ну разумеется, раз колпак, так откуда же ему и быть, как не из Сиены? <sup>137</sup>

Нанна: Сразу же, как только сиенец появился в городе, он стал пожирать меня глазами, и всякий раз, встречая мою служанку, многозначительно говорил: «Это сердце принадлежит синьоре». Или: «А как поживает синьора, красавица наша?» И та отвечала: «Вашими молитвами, вашими молитвами», а потом у него за спиной корчила рожи. Увидев однажды, как стоит он подле моего дома, я сказала служанке: «Ну-ка, спустись к нему. Пора бы ему уже как-то заплатить за то, что он с утра до вечера перегораживает улицу и мешает прохожим». Она спустилась, и только он было открыл рот, чтобы поздороваться, как она заорала: «Ноги ты, что ль, себе переломал, куда ты провалился? О Господи, куда ж ты подевался, идиот несчастный?» А этот балбес испуганно отвечает: «В чем

дело? Вот он я, к вашим услугам, преданный слуга вашей госпожи». А она, не слушая, продолжает: «Вот уже четыре часа, четыре часа прошло с тех пор, как мы послали этого воришку разменять дублон. Синьора должна дать на чай рассыльному, который принес ей две штуки красного шелка от князя Сторта<sup>183</sup>. И вот, этот негодяй до сих пор не вернулся». Легковерный дурачок решил показать, какой он щедрый, широко раскрыл кошелек и, гордясь своим великодушием; закричал: «Бери! Я обожаю твою госпожу!» — и сунул ей в руку четыре кроны. А потом еще добавил: «Я ведь нравлюсь синьоре, правда?» Но я уже кликнула служанку домой и захлопнула дверь перед самым его носом. Так он и остался стоять за дверью, словно выгнанный со свадьбы, на которую не был приглашен.

Антония: Так ему и надо, дураку.

Нанна: А теперь история с кошками.

Антония: Кошками? Какими кошками?

Нанна: Я задолжала двадцать пять дукатов одному продавцу тканей, отдавать их мне не хотелось, и я решила его надуть. И что же я сделала? У меня были две красивые кошки. Увидев как-то в окно, что он идет ко мне за деньгами, я сказала служанке: «Одну кошку дай мне, сама возьми другую. Как только он подойдет, я тебе крикну: „Души ее, души!“, а ты сделай вид, что не хочешь, а я тем временем притворюсь, будто душу свою». Только я это сказала, а он тут как тут.

Антония: А он что, не постучался?

Нанна: Дверь была открыта. Он поднялся наверх, я закричала: «Души ее, души!», и служанка, делая вид, что плачет, принялась меня уговаривать простить кошку, она больше не будет воровать со стола. Но я притворилась ужасно рассерженной, сдавила кошке горло и закричала: «Да уж, больше ей это не удастся!» Моему «кредитору поневоле» стало жалко кошек, и он попросил, чтобы я их ему отдала. «Пожалуйста», — отвечаю я. А он говорит: «Я возьму их на неделю, и если вы за это время их не простите и не захотите подарить мне, я сам помогу вам с ними расправиться». С этими

словами он тянет кошку у меня из рук, а я еще немного сопротивляюсь, прежде чем ее отпустить. Потом он вырывает другую кошку у служанки и, запихав обеих в мешок, вручает рассыльному и приказывает отнести к нему домой. А я говорю: «Через неделю принесите их обратно. У, подлые воровки, я их задушу». Сказав, что так и сделает, он попросил у меня свои двадцать пять дукатов, я пообещала, что сама принесу их ему в лавку через десять дней, и он ушел, всем довольный. Но прошло десять, а потом пятнадцать дней, и он снова пришел ко мне за деньгами. Они были у меня уже приготовлены, завязаны в узелке, я потрясла им и сказала: «Я охотно отдам вам деньги, но сначала вы отдайте мне моих кошек». — «Каких кошек?! — закричал он. — Да они сразу же удрали от меня по крышам, как только я принес их домой». Мне это было и без него прекрасно известно, но после этих слов я нахмурилась и сказала: «Нет уж, извольте мне их вернуть, иначе вам это обойдется больше ваших паршивых двадцати пяти дукатов. Эти кошки уже подарены, они должны отправиться в Барбарию. Мои кошки, дорогой мессир, должны вернуться сюда, они должны вернуться сюда, мои кошки!» Он стоял в это время у окна и, увидев, что на мои крики внизу уже собирается народ, благоразумно воздержался от споров. Бедняга только сказал, спускаясь по лестнице: «Вот и доверяй после этого девкам!»

Антония: Нанна, а знаешь, что я сейчас подумала?

Нанна: Что?

Антония: Это твоя проделка с кошками до того изящна, что за нее тебе должны проститься по крайней мере четыре других, за которые тебя по справедливости следовало бы отлучить от церкви.

Нанна: Ты думаешь?

Антония: Уверена. Ставлю душу против одной фисташки...

Нанна: Ну что ж, это не мало... кха-кха-кха... видно, я простудилась. Эта фига дает слишком густую тень. Кха-кха-кха... Пожалуй, я не смогу тебе боль-

ше ничего рассказать. А у меня еще столько историй! Сколько народу надула я за свою жизнь, и как! Любого я могла убедить во всем, что хотела; скажи я, что жидовская синагога подвешена в воздухе, как, говорят, гробница Магомета, — и все поверили бы! Кха-кха-кха, ох, не продохнуть! Я охрипла, простуда, видно, спустилась в самое горло.

Антония: Вредная тень не у фиги, а у ореха.

Нанна: Ну, а теперь ты должна мне в двух словах сказать то, что обещала вначале... Правда, жаль, что я не успела тебе рассказать про то, как пеклась я о добре своих любовников, я берегла его, как свое собственное. Делая вид, что думаю только о целостности их кошельков, я не давала им тратиться на украшения, лакомства, безделушки. На самом деле я старалась сохранить деньги для себя, а эти дурачки благодарили меня за то, что я так скромна, так нетребовательна, так бережно отношусь к их кошелькам. Ох, умираю... кха-кха-кха... жаль, что не могу рассказать тебе также историю про шпалеры: там один брал деньги под залог, другой их ему давал, один покупал для меня шпалеры, двое смотрели, как он торгуется, третий мне их принес, а последний пришел как раз в тот момент, когда я развешивала их на стенах.

Антония: Нет уж, ты постарайся, расскажи! Ну же, дорогая Нанна, хорошая моя Нанна, давай рассказывай...

Нанна: Дело было так, что мессир... как его... мессир, мессир... нет, извини, не могу собраться с мыслями... я действительно просто помираю... Расскажу в другой раз, вместе с той историей, где один монсиньор спасался голым по крышам всего квартала... ох, Антония, я задыхаюсь, ох...

Антония: Да пропади все оно пропадом, и кашель твой с его приливами и отливами, и это дитя Солнца<sup>139</sup>, которое помешало нашей беседе. Сначала я не хотела тебе говорить, но мне кажется, такого не может быть, чтобы ты столько всего увидела прямо в первый день своего пребывания в монастыре и чтобы

ты прямо сразу, в первый же день, переспала с бакалавром.

Нанна: На это я вот что тебе скажу: в монахини я попала, будучи девственницей лишь наполовину... а что касается того, как много я увидела в первый же день, то, поверь, на самом деле я увидела гораздо больше... кха... кха-кха... проклятый кашель.

Антония: Неужели?

Нанна: Да, гораздо больше. Но давай же, скажи мне теперь в двух словах, что ты решила. Ты мне обещала.

Антония: Да, я обещала тебе в двух словах посоветовать, что лучше выбрать для Пиппы, но, пожалуйста, у меня это не получится.

Нанна: Почему? Кха-кха-кха...

Антония: Потому что я могла дать тебе совет только в ту минуту, когда обещала. Ты же знаешь, что мы, женщины, всегда очень сообразительны, когда надо решить что-то быстро, а когда начинаем размышлять, становимся дуры дурами. Лучше я просто скажу тебе, что я думаю, а ты уж сама отдели розы от шипов.

Нанна: Давай, я слушаю.

Антония: Ну так вот. Если отбросить часть того, что ты рассказала, а то, что останется, принять на веру... ты же знаешь, что ко всякой правде всегда прилипает немного лжи, а порою, пытаюсь сделать рассказ интереснее, мы его приукрашиваем разными глупыми выдумками...

Нанна: Иными словами, ты считаешь... кха-кха-кха... ты считаешь меня лгуньей?

Антония: Нет, не лгуньей. Просто ты не всегда бываешь точной и, как мне показалось, слишком уж не любишь монахинь и замужних. Правда, я готова согласиться, что среди них действительно чересчур много дурных женщин, такого не должно быть. Что касается девок, то их я защищать не хочу.

Нанна: Мне трудно... кха-кха-кха... с тобою спорить, боюсь, что кашель перешел в катар... не тяни, говори, что ты советуешь.

Антония: Мне кажется, что Пиппе лучше стать девкой. Монахини преступают священный обет, замужние нарушают таинство брака, а у девки нет обязательств ни перед монастырем, ни перед мужем. Она как солдат, которому платят за то, чтобы он творил зло. Он творит зло, сам этого не замечая, и она поступает так же. В ее лавочке продается только то, что она может продать. Если кто-то открывает таверну, то с первой же минуты всем ясно и без вывески, что это место, где будут пить, есть, играть, развратничать, лгать и мошенничать. И если кому-то взбредет в голову именно там прочесть проповедь или начать поститься, то он ни кафедры там не найдет, ни пост у него не получится. Огородники продают зелень, аптекари лекарства, а бордели — богохульство, ложь, грязь, позор, сплетни, скандалы, воровство, драки, предательство, дурную славу, французскую болезнь, бедность и смерть. Духовник подобен врачу, он может вылечить лишь того больного, который придет к нему со своею болезнью, и ничем не поможет человеку, который свою болезнь скрывает. Поэтому поступай по совести и, не откладывая, делай из Пиппы девку. Ведь если она захочет снять с души грех блуда, ей всего-то и нужно, что покаяние да пара капель святой воды. Тем более, судя по твоему рассказу, недостатки девок — это и есть их достоинства. А кроме того, так приятно, когда с тобой обращаются, словно с госпожой, и когда ты и ешь, и одеваешься, словно госпожа, когда у тебя что ни день, то праздник. Ты столько об этом говорила, что знаешь все это лучше меня. И потом приятно исполнять любое свое желание и при этом еще принести радость другим. Поэтому Рим всегда будет городом... я сказала бы, городом девок, если б не боялась, что меня заставят в этом раскаяться.

«Ты замечательно все объяснила, Антония, — хрипло сказала Нанна, — и я так и поступлю, как ты советуешь». Затем она разбудила служанку, которая проспала все время, куда они беседовали, снова водрузила ей на голову корзину, в руку сунула пустую бутылку, а Антонии дала салфетки, которые та несла

утром, и они отправились домой. Там они послали за леденцами от кашля для Нанны, а сама Нанна, воздержавшись из-за кашля от вина, подкрепилась хлебным супом, приготовив для Антонии другие блюда. Та провела у нее всю ночь, а утром к нужному часу поспела в лавочку, которая давала ей средства к существованию. Жилось ей тяжело, но она утешалась, вспоминая рассказы Нанны, и всякий раз поражалась при мысли о том, как много зла творят девки, которых на свете больше, чем мух, муравьев и комаров, народившихся за двадцать лет кряду.

Чего только не услышала она от Нанны, а ведь та не рассказала и половины того, что знала.

Конец третьего и последнего дня

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Salve* — привет, приветствую (лат.). *Мона* — слово, производное от „*monicchio*“ — «обезьянка»; кроме того, используется в тосканском просторечии для обозначения женского детородного органа.

<sup>2</sup> Этот эпизод описан Плинием Младшим в «Естественной истории» и воспроизводится Аретино почти дословно.

<sup>3</sup> *Багаттино* — название мелкой медной монеты, бывшей в ходу в Венеции и ее окрестностях во времена Аретино.

<sup>4</sup> ...*короля Франции...* — т. е. Франциска Первого (1494—1545).

<sup>5</sup> «*Приапея*» — одно из произведений, входящих в состав „*Appendix Vergiliana*“. Говоря о *непристойностях Овидия, Ювенала и Марциала*, Аретино имеет в виду сочинения «Наука любви», «Сатиры» и «Эпиграммы» этих древнеримских поэтов.

<sup>6</sup> ...*кроме христианнейшего короля Франциска...* — см. прим. 4.

<sup>7</sup> *Антонио да Леви* (1480—1536) — испанский кондотьер, которого император Священной Римской империи Карл V назначил губернатором Милана. *Герцог... флорентийский* — Александр Медичи (1510—1537). *Кардинал... Медичи* — Ипполит Медичи (1511—1535). *Маркиз дель Васто* — Альфонсо д'Авалос (1502—1546), воспетый Лодовико Ариосто в поэме «Неистовый Роланд». *Князь Салерно* — Ферранте Сансеверино (1507—1568). *Граф... Массимиано Стампа* (ум. 1552) славился своей щедростью и великодушием.

<sup>8</sup> ...*клянусь семью церквями...* Семь церквей — семь папских базилик Рима, паломничество в которые давало право на отпущение грехов. Это собор св. Петра (Сан Пьетро), собор св. Иоанна на Латеранском холме (Сан Джованни ин Латерано), Большой собор св. Марии (Санта Мария Маджоре), базилика св. Павла за стенами (Сан Паоло фуори ле мура), собор св. Лаврентия за стенами (Сан Лоренцо фуори ле мура), собор св. Себастьяна (Сан Себастьяно), собор Святого Креста в Иерусалиме (Санта Кроче ин Джерусалемме).

<sup>9</sup> ...на улице Банки... — т. е. на той улице в Риме, где в эпоху Аретино собирались городские проститутки.

<sup>10</sup> ...принадлежали Паньине... Паньина — одна из самых знаменитых куртизанок Аретиновой эпохи.

<sup>11</sup> ...пел „Te Deum“... Имеется в виду католический благодарственный гимн св. Амвросия Медиоланского, читающийся во время заутрени. Начальные слова гимна — „Te Deum laudamus“ («Тебя, Бога, хвалим», лат.).

<sup>12</sup> Сан Пьетро — см. прим. 8. Санто Янни — собор. св. Иоанна (Джованни) на Латеранском холме; ср. прим. 8.

<sup>13</sup> ...под пение „Benedicamus“, „Oremus“, „Alleluia“... «Благословим», «Помолимся», «Аллилуйя» (лат.).

<sup>14</sup> ...в обсерванты у францисканцев. Имеется в виду низший монашеский чин в ордене францисканцев, члены которого были обязаны соблюдать первую заповедь св. Франциска Ассизского — вести аскетический образ жизни.

<sup>15</sup> ... в легенде о странствующей венецианской блуднице. Имеется в виду поэма Аретино «Странствующая венецианская блудница», где в качестве «причины» называется мужская сила монахов, якобы превосходящих в этом отношении всех прочих представителей сильного пола.

<sup>16</sup> ...пожирать крону деревьев, в тени которых забавлялся бедняжка Пирам с бедняжкой Тисбой... Согласно Овидию (Метаморфозы. IV. 55—166), история вавилонского юноши Пирама и его возлюбленной Тисбы (Фисбы) выглядит так. Жестоко страдая от запрета родителей на встречи, Пирам и Тисба условились о встрече ночью у могилы основателя ассирийского царства Нина. Явившись на свиданье первой и увидев у гробницы львицу с окровавленной мордой, Тисба испугалась и убежала, обронив свое покрывало. Львица разорвала покрывало и удалась. Оповедавший на свиданье Пирам при виде разорванного и окровавленного покрывала решил, что Тисба погибла, и закололся. Вернувшись назад, Тисба нашла тело возлюбленного и, не перенеся зрелища его смерти, убила себя тем же мечом. Белые ягоды тутового дерева (кстати, упоминаемого в разговоре Нанны и Антонии), росшего у гробницы, от крови несчастных стали красными и с той поры сохраняют новый цвет.

<sup>17</sup> Генерал — здесь: глава религиозного ордена или конгрегации.

<sup>18</sup> *Benedicite* — благословенны будьте (лат.).

<sup>19</sup> ...изображала жизнь святой Нафиссы... Нафисса — вымышленная Аретино святая, покровительница куртизанок.

<sup>20</sup> *Verbigrazia* — к примеру, так сказать (лат.).

<sup>21</sup> ...на мосту святого Сикста... Мост св. Сикста был во времена Аретино местом, где собирались нищие, воры, разбойники, проститутки, и пользовался в Риме дурной славой.

<sup>22</sup> ...одеть тех, кто наг. «Одеть нагого» — одно из «дел мило-

сердия» у католиков латинского обряда, рекомендуемое «для тела» верующего.

<sup>23</sup> *Amore Dei* — из любви к Богу (лат.). Здесь в знач.: «даром».

<sup>24</sup> ...*история Мазетто ди Ламполеккио* — т. е. история, рассказанная в первой новелле третьего «дня» «Декамерона» Джованни Боккаччо.

<sup>25</sup> *Палио* — конные соревнования.

<sup>26</sup> *Анкройя* — героиня одноименного народного сказания. *Друзиана* — персонаж средневекового итальянского романа «Буова д'Антоня».

<sup>27</sup> ...*перейдем к quia*. *Quia* — буквально: потому что, так как (лат.). Здесь в знач.: «суть». Риторическая формула, имевшая широкое хождение.

<sup>28</sup> ...*тяжелым шагом Бартоломео Кольони*. Кольони — намеренное искажение имени знаменитого кондотьера (1400—1475), которое на самом деле звучит иначе — Коллеони. «Кольони» (*coglioni*) по-итальянски значит «тестикулы; яйца». Столь непристойное прозвище кондотьер получил за то, что, согласно легенде, у него их было целых три.

<sup>29</sup> ...*воткнул свой клистир в ...visibiliū ego святейшества...* *Visibiliū* — буквально: видимый (лат.). Вырванное из контекста «Символа веры», где говорится о «Боге Видимом и Невидимом», слово намеренно вводится Аретино в непристойный контекст и выступает здесь в качестве прозрачного эвфемизма. Аналогом подобного словоупотребления, целью которого является замена ненормативной лексической единицы, может служить такой современный пример, как:

Это молот, это серп,  
Это наш советский герб.  
Хочешь — жни, а хочешь — куй.  
Все равно получишь ...*орден*.

<sup>30</sup> ...*мраморной статуи, которую душат змеи вместе с детьми*. Очевидно, Нанна имеет в виду знаменитую скульптурную группу «Лаокоон», изваянную родосскими мастерами Александром, Антенодором и Полидором и хранящуюся в Музеях Ватикана.

<sup>31</sup> ...*целый скит камальдулов...* Камальдулы — монашеский орден, основанный св. Ромуальдом в 1012 г. в селении Камальдоли близ Ареццо. Следуя уставу бенедиктинцев, камальдулы ужесточили предписания умерщвления плоти и прославились строгостью своей аскезы.

<sup>32</sup> *E libera nos a malos* (правильно: „sed libera nos a malo“) — и избавь нас от лукавого (лат.). Последняя строка „*Pater noster*“ («Отче наш»), главной католической молитвы, вос-

ходящей к Нагорной проповеди Иисуса Христа (Мф. VI. 9—13).

<sup>33</sup> ...в общем, завела «Плач на Родосе» <...> мы же с тобою в Риме. Собеседницы имеют в виду недавние события — завоевание турками острова Родос (1522), принадлежавшего ранее Венеции, и разграбление Рима войсками Карла V (1527). Оба события сопровождались небывалым кровопролитием и оставили по себе множество жертв. Отсюда — «плач», на Родосе и в Риме.

<sup>34</sup> ...со словами „*Gratia plena*“ отворяю дверь... *Gratia plena* — полная благодати (лат.). Начало католической молитвы, обращенной к Богородице: „*Ave Maria gratia plena*“ («Радуйся, Мария благодатная»). Восходит к Лк. I. 28, 42.

<sup>35</sup> ...в окружении других душ Лимба. Лимб — пространство на границе Рая и Ада, куда, согласно католическим представлениям, попадают души людей, не принявших крещения, а также патриархов и младенцев.

<sup>36</sup> ...воткнула стеклянную пику с бубенцами в *utriusque* ношица... *Utriusque* — буквально: обоюдно (лат.); ср. прим. 29.

<sup>37</sup> ...и семью радостями... Семь радостей — кощунственный «перевертыш», придуманный Аретино как «антоним» «семи смертных грехов» (в число которых входят праздность, чревоугодие, уныние, любоначалие, празднословие и др.).

<sup>38</sup> ...и „*Pater noster*“ святого Юлиана... Со словами молитвы „*Pater noster*“ паломники обращались к странноприимнику св. Юлиану, чтобы во время паломничества им не отказали в гостеприимстве.

<sup>39</sup> *Sancta Sanctorum* — Святая Святых (лат.). Часть храма, куда вхожи только высшие священники.

<sup>40</sup> Сохраняя на своем лице насмешливую мину Марфорио... Марфорио — одна из двух (вторая — Пасквино) статуй в Риме, на которую в эпоху Аретино клеили листки с сатирическими обличениями самых видных деятелей папской курии.

<sup>41</sup> ...исповедник затянул „*Resoga satiri*“... Т. е. «...полевых зверей» (лат.) — цитата из VIII псалма (ст. 8).

<sup>42</sup> ...в честь викария, а не его святейшества Митры... Митра — головной убор епископа, символ его духовной власти. Здесь в знач.: «епископ».

<sup>43</sup> ...с *fides* из желтых фиалок. *Fides* — обручальное кольцо (лат.).

<sup>44</sup> ...стали обзывать викария теми самыми словами, какими обзывает священников маэстро Пасквино... Городской достопримечательностью была статуя Пасквино в Риме (ср. прим. 40).

<sup>45</sup> ...кусочек лезвия, длине которого позавидовал бы сам Бевилаква... Бевилаква — имя «первой шпаги» Италии во времена Аретино.

<sup>46</sup> *Verbigrazia* — см. прим. 20, 29.

<sup>47</sup> ...за обличьем Херувима, Престола и Серафима... Имеются в виду ангелы, входящие в «первый лик», согласно иерархии Дионисия Ареопагита (I в.).

<sup>48</sup> ...приговаривая „*Laudamus te*“... См. прим. 11.

<sup>49</sup> *Verbigrazia* — см. прим. 20, 29.

<sup>50</sup> ...этот новоявленный Арлотто... Имеется в виду Арлотто Маинарди (1396—1484) — автор непристойных историй, собранных в книге „*Motti e faczie del piovano Aglotto*“.

<sup>51</sup> ...будто то была Роза или Арколана... Роза, Арколана — знаменитые римские красавицы эпохи Аретино.

<sup>52</sup> ...описанием старой трентинки... Трентинка — уроженка города Тренто. Трентинки имели в ту пору репутацию колдуний.

<sup>53</sup> Да простит меня автор «*Ста новелл*»... Подразумевается Джованни Боккаччо, автор «Декамерона».

<sup>54</sup> *Капернаум* — город в Палестине, наравне с Содомом считающийся символом греха и проклятия.

<sup>55</sup> ...могло бы ввести в искушение даже звезду Дианы. Древнеримская богиня Диана в эпоху Аретино воспринималась как символ девственности.

<sup>56</sup> ...родственники *Dissite* и *Verbumcaro*. *Dissite* — искаж. лат. от „*dixit*“, т. е. «сказал». Здесь оно значит «Бог» (ср.: «И сказал Бог»). *Verbumcaro* — искаж. лат. „*Verbum caro factum*“, т. е. «Слово стало плотью» (Ин. I. 14). Поскольку под «плотью» в Евангелии подразумевается Христово слово, *Verbumcaro* здесь значит «Христос». Таким образом, детей, родившихся от монахов или монахинь, проповедник призывал считать роднею Бога Отца и Христа.

<sup>57</sup> ...как псалом „*Gloria in Eccelsis*“... *Gloria in Eccelsis* — Слава в вышних <Богу> (искаж. лат.). Начало Большого Славословия в католической мессе.

<sup>58</sup> ...источает „*Manuscristi*“... „*Manuscristi*“ — буквально: рука Христа (лат.); здесь: разновидность ликера.

<sup>59</sup> ...что понадобилось бы перо Буркьелло... Буркьелло — псевдоним флорентийского поэта Доменико ди Джованни (1400—1449).

<sup>60</sup> *Per infinita secula* — на вечные времена (искаж. лат.).

<sup>61</sup> ...намереваясь прочесть „*Magnificat*“... Имеется в виду «Магнификат», молитва, читаемая во время вечернего богослужения. Название происходит от первого слова молитвы, которое означает «величает»: «Величает душа моя Господа».

<sup>62</sup> ...что с моста Святой Марии... Мост Св. Марии был местом сбора римских проституток.

<sup>63</sup> ...нам захотелось покрасоваться у решетки и колеса... Через монастырскую приемную тянулась решетка, отделявшая монахинь от посетителей, а посредством «колеса» — вращающе-

гося механизма в отверстии стены — монахиням можно было делать «передачи».

<sup>64</sup> ...*в день Станционе...* Имеется в виду один из дней Великого Поста, когда в церковь за отпущением грехов прихожане идут организованной процессией.

<sup>65</sup> ...*сразу после „Ave Maria“...* О католической молитве, начинающейся этими словами, см. прим. 34. Однако в данном случае, скорее всего, имеется в виду «Ангелюс» — молитва, трижды повторяемая в течение дня; каждый стих «Ангелюса» сопровождается троекратным произнесением „Ave Maria“ и звоном колокола. Из контекста видно, что речь, очевидно, идет о последнем, вечернем «Ангелюсе».

<sup>66</sup> ...*ему позавидовал бы даже уроженец Бергамо.* Город Бергамо был в ту пору поставщиком посыльщиков для всей Падуанской равнины.

<sup>67</sup> ...*как вечерами Страстной Недели мальчишки прохаживаются деревянными трещотками по церковным дверям и алтарным скамеечкам...* Шум трещоток, которыми мальчишки колотили по церковным дверям и скамейкам около алтаря, был призван заменять звон колоколов, которые безмолвствовали в течение всей Страстной Недели.

<sup>68</sup> ...*когда впавший в детство старый рогоносец Титон прятал от глаз Дня рубашку своей жены...* Титон (Тифон) — в греческой мифологии божество света, изначально собственно «полдень»; брат Приама, сны Лаомедонта, супруг Эос. Эос, полюбив Титона, унесла его к себе и попросила для него у Зевса бессмертие, забыв о вечной молодости. Поэтому Титон составил («старый рогоносец Титон») и сделался сверчком. Считается, что весь этот пассаж является пародией на XI песнь Дантова «Чистилища».

<sup>69</sup> ...*как докучают святому Петру заботы о строительстве его Храма.* Современное здание базилики св. Петра в Риме было заложено в 1506 г.; сооружение храма длилось более полутора столетий.

<sup>70</sup> ...*меж двух живых шаров... более прекрасных, чем те, что держит в своих лапах Орел на дверях Посла...* Подразумевается императорский герб Священной Римской империи.

<sup>71</sup> ...*чтобы не родить потом дитя, меченное родинкой такой же формы.* Распространенное в ту пору суеверие. Считалось, что неудовлетворенные желания беременной женщины могут проступить на лице новорожденного в виде родимых пятен соответствующего рисунка.

<sup>72</sup> ...*и стала бормотать „Confiteor“...* Confiteor — буквально: исповедую. Часть «Символа веры». Ср.: Confiteor unum baptisma/in remissionem peccatorum (Исповедую единое крещение/во оставление грехов).

<sup>73</sup> ...*сунула ему дукат и два юлия.* Дукат — золотая монета,

впервые выпущенная в Венеции, а затем и в других городах Италии. Ее название связано с тем, что на лицевой стороне монеты был изображен дож (doge, dusa) Юлий — серебряная монета, введенная в обращение папой Юлием II (понтификат 1503—1513).

<sup>74</sup> *Месса Сан Грегорио* — цикл из тридцати месс о спасении души умерших. Из контекста очевиден кощунственный смысл упоминания мессы С. Г.

<sup>75</sup> ...в канун праздника святого Франциска и в Ассизи, и в Верние... Святой Франциск (Джованни Бернардоне; 1182—1226) родился в городке Ассизи, отчего зовется Ассизским, а стигматы получил на горе Верние в Апенниннах.

<sup>76</sup> ...вдруг грянул... „*Et incarnatus est*“. *Et incarnatus est* — буквально: И воплотился. Часть «Символа веры». Ср.: *Et incarnatus est de Spiritu Sancto / ex Maria Virgine, et homo factus est* (И воплотился от Духа Святого и Марии Девы, / И стал человеком).

<sup>77</sup> *Cuiussi* — искаженная форма родительного падежа от лат. „*quis*“ (кто). Синьора в рассказе Нанны переводит разговор с темы латинского языка «на другие темы».

<sup>78</sup> *A porta inferi* — к вратам ада (лат.).

<sup>79</sup> *Salvum me fac* — буквально: ниспошли мне спасение (лат.). В данном случае выражение выступает в качестве прозрачного эвфемизма; ср. прим. 29.

<sup>80</sup> *Она привела своего Credo-In-Deum к нам наверх...* *Credo in Deum* (точнее: *credo in unum Deum* — верую в Бога (лат.). Сокращенная цитата из «Символа веры» (должно быть: верую во единого Бога). Здесь выступает в функции прозвища, т. е. в знач. «простак», «доверчивый».

<sup>81</sup> *Папа Янни* — Лев X (понтификат 1513—1521; наст. имя Джованни Медичи, 1475—1521).

<sup>82</sup> ...пропели „*Requiem aeternam*“... *Requiem aeternam* — вечный покой <даруй ему, Господи> (лат.). Начальные слова заупокойной католической молитвы.

<sup>83</sup> *Примьера* — старинная итальянская азартная карточная игра.

<sup>84</sup> *Мне-Мама-Не-Велит* — прозвище Лукреции ди Клариче, одной из самых известных римских куртизанок эпохи папы Климента VII (понтификат 1523—1534).

<sup>85</sup> ...он плюнул в лицо мессире по имени Не-Хочу-Поминать-Его-Все. Под этим замысловатым именем Нанна имеет в виду Иисуса Христа.

<sup>86</sup> ...как сохла некогда по быку одна царица. Имеется в виду супруга критского царя Миноса Пасифая, которая полюбила быка и родила от него сына Минотавра, чудовище с головой быка.

<sup>87</sup> ...она узнала, что любая обитательница борделя может

спасти приговоренного к смерти, если... выбежит навстречу и крикнет: «Это мой муж!» Такой обычай действительно существовал.

<sup>88</sup> ...после ее *levamini*. *Levamini* — от лат. „*levamen*“, «облегчающее средство». Здесь в знач.: «бегство из дома».

<sup>89</sup> ...глядя на шутовские проделки маэстро Андреа и Страшино... Маэстро Андреа (ум. 1527) — поэт, художник, мастер эпиграммы, один из самых заметных людей в римском обществе эпохи Климента VII, близкий друг Аретино. Страшино (наст. имя Никколо Кампани; 1478—1523) — известный сочинитель театральных фарсов, также друг Аретино.

<sup>90</sup> ...ни настоящих Стациони... См. прим. 64.

<sup>91</sup> ...если бы Рим лишился также и Россо... Россо («Рыжий») — прославленный римский шут, подвизавшийся при дворах Льва X и Климента VII.

<sup>92</sup> ...о душе думала не больше, чем думаем мы о войне гвельфов и гибеллинов... Война гвельфов и гибеллинов — борьба политических движений в Италии XII—XV вв.; гвельфы поддерживали римских пап, а гибеллины отстаивали интересы Священной Римской империи. В ходе противостояния позиции его участников радикально менялись, так что во времена, описываемые Аретино, эта война уже не вызывала серьезного общественного интереса.

<sup>93</sup> ...не в силах произнести *miserere*... *Miserere* <me Deus> — Помилуй <меня, Господи> (лат.). Католическая молитва, восходящая к тексту 50-го псалма.

<sup>94</sup> ...чем к гробнице святой блаженной Лены далл'Олио в Болонье. Имеется в виду блаженная Элена Дульоли далл'Ольо (1472—1520).

<sup>95</sup> ...во владениях блаженной Васталлы. Васталла — так стала именовать себя с момента своего обращения Лодовика Торелли, графиня Гвасталла (1500—1564), которая до этого вела весьма свободный образ жизни.

<sup>96</sup> ...еще обсервантки. См. прим. 14.

<sup>97</sup> ...с первым лучом, посланным на землю покровителем поэтов... Имеется в виду бог Аполлон, отождествляющийся с Солнцем.

<sup>98</sup> ...вид сияющего огнями Замка... Имеется в виду замок св. Ангела, в ту пору папская крепость. Во время народных празднеств над замком св. Ангела запускались фейерверочные ракеты.

<sup>99</sup> *Торре ди Нона* — городская тюрьма в Риме.

<sup>100</sup> «Петраркино» — «Книга песен» итальянского поэта Франческо Петрарка.

<sup>101</sup> Цитата из сонета СXXXII (строки 1—2), входящего в «Книгу песен» Ф. Петрарки. Пер. Вяч. Иванова.

<sup>102</sup> ...походили на тех странных зверей, которые питаются

воздухом. <...> на хамелеонов? Так считала наука того времени.

<sup>103</sup> ...кто пережевывает „Ave Maria“, непременно выплюнет „Pater noster“ ... См. прим. 32, 34, 65. Сопоставление молитв в данном контексте несет в себе непристойно-кощунственный смысл.

<sup>104</sup> *Баккано* — место в окрестностях Рима, неподалеку от Кассиевой дороги, известное тем, что здесь часто грабили и убивали проезжающих.

<sup>105</sup> ...земную жизнь пройдя до половины. Цитата начала песни I «Ада» Данте. Пер. М. Л. Лозинского.

<sup>106</sup> ...«с задраным хвостом», как то привидение из новеллы Боккаччо. Имеется в виду первая новелла седьмого «дня», в которой любовник («привидение») уходит от дверей своей возлюбленной «с задраным хвостом», т. е. так и не получившим удовлетворения.

<sup>107</sup> *Conquibus* — с чем-то (лат.). Т. е. с деньгами, с какими-нибудь приношениями.

<sup>108</sup> *Гоннелла Пьетро* — знаменитый флорентийский шут XIV в.

<sup>109</sup> ...начинают ученье мессирами, а возвращаются домой сирами... Школяры приходят в университет как мессеры (господа), а заканчивают его сирами — так именовались получившие университетский диплом.

<sup>110</sup> ...как продают попы свою первую мессу, развешивая объявления о том, что они будут служить ее впервые. Этот вид вымогательства был очень распространен.

<sup>111</sup> ...меченные тою печатью, какой метит своих кобыл святой Иов... Под «тою печатью» подразумеваются сифилитические язвы.

<sup>112</sup> *Корте Савелла* — римский городской суд, который назывался так потому, что находился под покровительством семейства Савелла.

<sup>113</sup> *Viegia* — старая (искаж. исп.; правильно: *vieja*).

<sup>114</sup> *Dios* — Бог (исп.).

<sup>115</sup> ...хоть король кубков. Кубки — одна из четырех мастей итальянских игральных карт (ср.: деньги, сабли, дубинки).

<sup>116</sup> ...фальшивее мирандольских дублонов. Мирандольский дублон — ничтожно мелкая монета, чеканившаяся монетным двором Пико делла Мирандола, итальянского философа-гуманиста (1463—1494).

<sup>117</sup> *Боясь, как бы ребенок не родился меченым, он старался упредить мои желания...* См. прим. 71.

<sup>118</sup> *Если объяснять применительно к Богу, то у Бога он был маркизом...* — т. е. принадлежал к числу священнослужителей высокого ранга.

<sup>119</sup> ...как говорил Маргутте. Имеется в виду персонаж поэмы Луиджи Пульчи (1432—1484) «Большой Морганте».

<sup>120</sup> Гроссо — серебряная монета, впервые отлитая в Венеции в XIII в. и потом распространившаяся по всей Италии; в каждой области она обладала своей ценностью. Байокко — мелкая медная монета, имевшая хождение в папских владениях до 1866 г.

<sup>121</sup> ...прямо как фра Чаппелетто. Фра Чаппелетто — священник-лицемер из первой новеллы первого «дня» «Декамерона» Джованни Боккаччо.

<sup>122</sup> ...сильнее даже Ронсевалья, где погибло столько рыцарей. Ронсеваль — ущелье в Пиренеях, где 15 августа 778 г. баски разбили аррьергард французской армии Карла Великого. Именно в этой битве погиб Роланд, ставший героем французского эпоса «Песнь о Роланде».

<sup>123</sup> ...спроси у Отца и Матери Всех Святых... Имеются в виду Христос и Богородица; даже их не щадит святотатственная брань девок.

<sup>124</sup> ...не побоялся бы пнуть в зад самого Каструччо... Каструччо Кастракани (1281—1328) — знаменитый кондотьер, которого «дополнительно» прославил Н. Маккиавелли, написавший его биографию — «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки».

<sup>125</sup> Джан Мария Джудео — известный немецкий лютник, которому папа Лев X даровал графский титул.

<sup>126</sup> ...в ограде церкви Кампосанто. Кампосанто — кладбище.

<sup>127</sup> Просветленная проповедью и легендой о святой Къепине... Святая Къепина — вымышленная автором святая, в чьем имени содержится прозрачный намек на ханжеский характер: в просторечии лицемерка зовется «къетина».

<sup>128</sup> ...в Риме, если б его еще раз (не дай Бог) отдали на разграбление. Здесь Аретино имеет в виду то разграбление, которому подвергся Рим в мае 1527 г., когда в город ворвалась армия германских ландскнехтов, нанятая императором Карлом V для войны против антииспанской лиги (см. также во вступит. статье к наст. изд.). Рим был варварски разрушен, в нем начались болезни и голод; великому унижению подвергся и папа Климент VII, поначалу укрывшийся в замке св. Ангела, а потом сделавшийся пленником императора и в конце концов вынужденный короновать его немецкой и итальянской коронами.

<sup>129</sup> ..в день Святого Юбилея... Святой Юбилей — юбилейный «святой год»; так называются периодические, заранее назначаемые годы юбилейных торжеств католической церкви. Первый «Юбилей» был отпразднован в 1300 г. по постановлению папы Бонифация VIII; сначала было решено отмечать его каждые сто лет. Но очень скоро тот срок был сокращен до пятидесяти, а потом (1470 г.) даже и до двадцати пяти лет. Обычай

сохраняется и поныне. Паломники, принявшие участие в церемонии празднества, получают полное отпущение грехов.

<sup>130</sup> ...что бронзовая шишка в храме Святого Петра... Имеется в виду выполненная из бронзы сосновая шишка, памятник искусства античного Рима. Ныне — в Ватикане.

<sup>131</sup> Ты имеешь в виду папессу? Здесь подразумевается папесса Иоанна — легендарный персонаж в истории папства. Впервые рассказ о женщине, якобы в течение года обманом занимавшей папский престол, появился в XIII в. Согласно одним утверждениям, она наследовала Льву XIV, умершему в 855 г.; согласно другим — Виктору III (ум. 1087). Ко времени Аретино легенда уже была опровергнута.

<sup>132</sup> ...что она дочь герцога Валентино <...> кардинала Асканио. Герцог Валентино — Чезаре Борджиа (1485—1505), сын папы Александра VI (Борджиа). Кардинал Асканио — Асканио Мариа Сфорца (1455—1504).

<sup>133</sup> Индийские братья — христианские миссионеры в Индии.

<sup>134</sup> ...что испугался бы даже Дезидерио со своими собутыльниками. Намек на венского архиепископа Дезидерио, убитого в VI в. Если верить легенде, он был способен в одиночку опустошить целый бочонок вина.

<sup>135</sup> Антония приводит отрывок из «Плача феррарской куртизанки», автором которого считался Маэстро Андреа (о нем см. прим. 89). Однако, как утверждает здесь устами Антонио Аретино, «Плач» принадлежит именно ему.

<sup>136</sup> Цитата из последней строфы сонета CXXXII из «Книги песен» Ф. Петрарки. Пер. Вяч. Иванова.

<sup>137</sup> ...откуда же ему и быть, как не из Сиены? Слово «сиенец» долгое время было в Италии синонимом слова «дурак» (ср. Данте. «Ад». XXIX. 121—122).

<sup>138</sup> ...от князя Сторта. Вымысел автора: таких князя и княжества не существовало. Сторта — местечко при въезде в Рим по Кассиевой дороге.

<sup>139</sup> ...и это дитя солнца... — т. е. фиговое дерево, под которым сидели собеседницы.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Светлана Бушуева. Скандальная жизнь и скандальные сочинения Пьетро Аретино . . . . .</i>	5
<b>Пьетро Аретино своей обезьянке . . . . .</b>	27
<b>Антония и Нанна. День первый . . . . .</b>	31
<b>День второй Аретиновой забавы, в который Нанна рассказывает Антонии о жизни замужних женщин . . . .</b>	80
<b>Последний день Аретиновой забавы, в который Нанна рассказывает Антонии о жизни девок . . . . .</b>	132
<i>Светлана Бушуева. Примечания . . . . .</i>	191

---

**Пьетро Аретино**  
**РАССУЖДЕНИЯ**

Рассуждения Нанны и Антонии под фиговым деревом, в Риме, которые ради своей забавы и в поучение женщинам трех состояний сочинил **Божественный Аретино**

Редактор А. Г. Тимофеев  
Художник А. Кортаев

Сдано в набор 16.06.94. Подписано в печать 21.02.95. Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,75. Усл. кр. отт. 63,75 тыс. л. Уч.-изд. л. 9,57. Тираж 10 000. (1-й завод 5 000 экз.). Заказ 433.

Издательство ИНАПРЕСС. СПб., Невский пр., 74.  
Лицензия ЛР № 062759 от 21.06.93.  
2-я типография Воениздата  
191065, С.-Петербург, Д-65, Дворцовая пл., 10

---

## Аретино Пьетро

**А 80** РАССУЖДЕНИЯ (Рассуждения Нанны и Антонии под фиговым деревом, в Риме, которые ради своей забавы и в поучение женщинам трех состояний сочинил Божественный Аретино) / пер. с итал., вступит. статья и примеч. Светланы Бушуевой. СПб.: ИНАПРЕСС, 1995. — 204 с., супер-обложка.

ISBN 5-87135-015-1

«Рассуждения» (1534), знаменитое сочинение Пьетро Аретино, представляющее собой эротически насыщенную сатиру на современные нравы, в течение долгого времени числилось по разряду порнографической литературы и, может быть, поэтому до сих пор не существовало в русском переводе.

Читателю предлагается первый русский перевод знаменитой книги, которая давно стала классикой мировой литературы. Перевод снабжен подробным комментарием и обстоятельной статьей, представляющей читателю яркую фигуру автора — Божественного Аретино, прозванного современниками «Бичом князей».

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНАПРЕСС»

ВЫПУСТИЛО

---

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ГЕНРИ МИЛЛЕР

ЧЕРНАЯ ВЕСНА

Роман. 264 стр., твердый переплет, суперобложка.  
Серия «Цветы зла»

---

Впервые к русскому читателю приходит роман выдающегося американского писателя (1891—1980 гг.) в прекрасном переводе, с большими статьями о его жизни и творчестве. Предвоенный Париж, богема, любовь и отчаяние, страх и надежда — вечные темы литературы, новаторски преломляются в книге Миллера.

Роман неоднократно запрещался цензурой, пока в судебном порядке не был признан «неподцензурным и выдающимся». Роман экранизировался знаменитым французским режиссером Трюффо («Тихие вечера в Клиши»).

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНАПРЕСС»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

во II квартале 1995 года

---

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

ГАНС ГЕЙНЦ ЭВЕРС

АЛЬРАУНЕ

ИСТОРИЯ ОДНОГО СУЩЕСТВА

Роман. 336 стр., твердый переплет, суперобложка.  
Серия «Цветы зла»

---

Эверс одна из самых таинственных фигур немецкой литературы. О нем можно сказать — «Гофман XX века», вдохновитель экспрессионистического кино 20-х годов, автор демонических черных романов. Судьба его загадочна — председатель союза писателей Германии в позорные годы Гитлера, впоследствии им же запрещенный. Альрауне — девушка рожденная не совсем обычным способом.

Таинственная, мистическая атмосфера романа, невероятный сюжет делают чтение захватывающим. Издание снабжено статьей, где впервые прослеживается судьба Эверса.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПРАВОПОРЯДКА  
ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РЭМ — БЕЗОПАСНОСТЬ»**

**Санкт-Петербург  
Большая Пушкарская, 44  
Тел. 542-89-58**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

